Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Собрание сочинений в десяти томах. Том 1. Рассказы, очерки 1881-1884
//Правда, 1958
FB2: “rvvg ”, 21 January 2010, version 1.0
UUID: A9C7FC6E-1739-453D-8449-ABCA3D75E776
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим...", "В горах" и "Золотая ночь".

Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений в 10 т.
М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)
Том 1 — с. 39 — 136.

Содержание

I 0004
II 0036
III 0069
IV 0090
V 0124
VI 0163
VII 0185
VIII 0216
ПРИМЕЧАНИЯ 0243

I

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы — числом десять — занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на посессионном праве; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя иностранцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской натуры, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза. После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале

принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабжении заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заводах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах. Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой циф-

рой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец, какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нравственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необхо-

димости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим из заводов Кайгородова, но сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки в глубь Уральских гор, куда был заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верст двести с лишком по самому плохому из русских трактов — Гороблагодатскому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась — это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский за-

вод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшоная» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась назади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождая реку далеко по ее течению вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный горо-

док, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широкой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился пред небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской станции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной кумачовой рубахе, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

— Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разе к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пущает, кто

ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

— А где живет эта Фатевна? — спрашивал я.

— Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церкви.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза рукой, внимательно смотрела на меня.

— Здесь живет Фатевна? — спрашивал я.

— А тебе на што ее? — отвечала вопросом старушка.

— Да вот мне нужно квартиру...

— Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, милости просим, — весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одета была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую ру-

башку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными глазами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в «обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

— У меня тут живет жилец один, — говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, — ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

— Как же это так? Это неудобно будет... — протестовал я, — я никого не хочу стеснять...

— Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую свет-

лую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашеный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бумаги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный табак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

— Вот все пол собираюсь выкрасить, — трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. — Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась,

хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? — бойко спрашивала Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: — Не раздеретесь, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знакомым, но где я видел это лицо? когда? В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

— Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! — вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

— Какой там черт приехал? — ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. — Ба-батюшки, светы мой... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!.

— Именно судьбами... — проговорил я, и мы не только обнялись, но и перецеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

— Вот эк-ту лучше будет, — говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любуясь встречей старых товарищей. — Фе-ша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! — звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. — Фешка, ли-ко, ли-ко!..

— А вы что тут рот-то разинули! — закричал Мухоедов на баб. — Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

— Что я вам за голубушка... — ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь по-прежнему в дверях. — Вот мамынька велит, так и принесу...

— Фатевна, водки, варенья, печенья! — неистовствовал Мухоедов, снова заключая

меня в свои объятия.

— Варенья-то еще не наварили про вас, — огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, — в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица, носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

— Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?!. — с азартом накинулся Мухоедов на своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: — А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роняя слова, заговорил:

— Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

— Нет.

— Учитель греческого языка? железнодорожник?

— Нет.

— Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

— Служу отечеству...

— Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

— Я ни с кого ничего требовать не буду, — объяснял я, — мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в заводском архиве.

— Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. — Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

— И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие

морщины, которых раньше не было, да близорукие глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волосы были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой — словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовой экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответствующему требованиям и условиям нового времени.

— А почему я не верю? — заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. — Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков,

рождений, смертей, но ведь количество — это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклипиодота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклипиодот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти; конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклипиодот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклипиодота, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклипиодот и говорит доктору, что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклипиодот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой кни-

жонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям, закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.». А в сущности, все это нарисовал Асклипиодот, и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

— В твоих словах, может быть, и много правды, — отвечал я, — но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, — самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать необходимые материалы.

— Да ну вас к черту вместе и со статистикой вашей! — довольно энергично проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. — Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высо-

кая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

— Еще дщерь Фатевны, — проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. — Только она сегодня не в ударе...

— А что?

— Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинет на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну, пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житьишко, ажно тоска заберет, известно — сердце не камень, лишнюю

рюмочку и пропустишь.

— А сюда-то ты как попал? — спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

— Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, — заговорил, махнув рукой, Мухоедов, — ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. — Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. — Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклоны, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, только жалованьишко маловато...

— Сколько ты получаешь?

— Тридцать семь рублев с полтиною.

— И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со

своей безобидной улыбкой проговорил:

— И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам

увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

— Одну колбасу изживете, вышлют другую.

— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и вы-

пила с завидным аппетитом.

— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, статошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письмы да письмы, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то... А какие это деньги по нонешнему времю?

— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Никаких денег я не посылаю...

— А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублев для своих родителев посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом,

и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы *отстали*, нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачиха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач спо-

добились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачиха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачиха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за

дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш modus vivendi[1] и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно непо-

движно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной вставшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде

длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

— А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности...

Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... Tempora mutantur...[2] Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова, что его песенка спета, теперь про нас то же говорят... Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

— А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, огля-

нешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видать этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество — так сердце кровью и обольется... Э-эх, золотое было времечко... А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть, и еще, подлец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да

всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенько; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководящими каждым выдающимся движением студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он думал в простоте своего доброго сердца. Жили мы с Мухоедовым где-то в самом глухом переулке, занимая пятирублевую комнатку, через

день обедая и переживая с лихорадочным жаром то счастливое настроение, которое безраздельно овладело всей тогдашней молодежью; мы не замечали той вопиющей бедности, которая окружала нас, и жили отлично, как можно жить только в двадцать лет. В это горячее время было пережито, может быть, слишком много счастливых молодым счастьем часов; воспоминанием об этом времени остались такие люди, как Мухоедов, этот идеалист с ног до головы, с каким-то особенным тайничком в глубине души, где у него жило то нечто, что делало его вечно довольным и беззаботным. Мне особенно было интересно проследить, что произошло с его тайничком за последние десять лет, в которые русское общество пережило, передумало и перечувствовало так много, а он, Мухоедов, с головой окунулся в глубину житейского моря.

Из разговоров с Мухоедовым я убедился в том, что он остался вечным студентом и ревниво охранял свой заветный тайничок, хотя беспредельная вера в содержимое этого тайничка подвергалась сильным искушениям и даже требовала поддержки какого-то Гаври-

лы, пред которым Мухоедов преклонялся со свойственным ему самоотвержением, как он раньше преклонялся пред Базаровым. Мухоедов, кажется, сильно отстал от века, может быть, забросил свою любимую науку, не читал новых книжек и все глубже и глубже уходил в свою скорлупу, но никакие силы не в состоянии были сдвинуть его с заветной точки, тут он оказал страшный отпор и остался Мухоедовым, который плюнул на все, что его смущало; мне жаль было разбивать его старые надежды и розовые упования, которыми он еще продолжал жить в Пеньковке, но которые за пределами этой Пеньковки заменены были уже более новыми идеями, стремлениями и упованиями. В лице Гаврилы явился тот «хороший человек», с которым Мухоедов отводил душу в минуту жизни трудную, на столе стоял микроскоп, с которым он работал, грудой были навалены немецкие руководства, которые Мухоедов выписывал на последние гроши, и вот в этой обстановке Мухоедов день за днем отсиживается от какого-то Слава-богу и даже не мечтает изменять своей обстановки, потому что пред его воображени-

ем сейчас же проносится неизбежная тень директора реального училища, Ваньки Белоносова, катающегося на рысаках, этих врачей, сбивающих круглые капитальцы, и той суеты-сует, от которой Мухоедов отказался, предпочитая оставаться неисправимым идеалистом. Жизнь его обогнала, выдвинув новые идеалы, и он продолжал с каким-то Гаврилой переживать старое, что было вынесено еще с университетской скамейки.

II

На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех; когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбавшиеся лица дочерей Фатевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню.

— Что вы тут ржете, кобылы! — послышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись.

Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера «не в ударе»; улыбнувшись, она нерешительно проговорила:

— Вам, может быть, самоварчик понадобится?

— Да, если можно...

Глаша — так звали эту юнейшую отрасль Фатевны — скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар; это была высокая стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз.

Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня исподлобья; выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила:

— А вы вместе учились с Епинетом Петровичем?

— Да, вместе...

— Глашка, Глашка... ужо тебя мамынька-то! — слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост.

Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты; старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтеньем бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену: Фатевна, уперев руки в бока, фертом ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал

со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространство и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол; в это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет сорока пяти, с такой маленькой головкой, точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк.

— Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна, — заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. — Недаром говорят, что бабье сердце, все равно что худой горшок...

— Ах, ты... — завопила Фатевна, становясь в боевую позицию и упирая руки в бока. — Не тебе бы говорить, не мне бы тебя слушать, живая боль...

— А ты — сухая мозоль, — храбро ответила женщина с маленьким лицом. — Я тебе правду говорю... вон и барин сидит: ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыди-

лась чужих-то людей... Ведь приезжий барин все видит, все...

Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на приступочке у входных дверей и отсюда отстреливался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамаши. Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц:

— Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят... Это не прилично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила... Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него!

Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля; через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на це-

лую улицу:

— Сирота я горемышная... Нету у меня ни роду, ни племени, родного батюшки-заступничка... Некому заступить за меня, сироту горемышную!

Это причитанье вызвало громкий смех девушек и отчаянную ругань Фатевны; я отошел к окну, выходившему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводский пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо покряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы; а там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд.

Было часов десять утра; легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала, и в воде снова целиком отражалось высокое, бледно-голубое небо с разбросанными по нему грядами перистых

облачков; в глубине пруда виднелась зеленая стена леса, несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире три барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз всем туловищем; у почерневшей деревянной будки сидел седой старик; несколько мальчишек удили рыбу с плотины; какая-то старушка-дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой средине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними двумя расходившимися полосами.

— Ты уж встал, — говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол.

— Да, встал.

— И чаю напился?

— Да.

— Ну, и отлично... А я нарочно тебя предупредить пришел: ты теперь в завод не ходи, там Слава-богу шатается, еще, пожалуй, придерется, а ты ступай теперь к попу Егору, он

тебе все метрики покажет; пока ты пробудешь у попа, Слава-богу уйдет из заводу кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу и в архив сведу. Понял?

Заметив тихо хныкавшего на своем приступочке Пушкина, Мухоедов проговорил:

— Сражение было?

— Да.

— Ну, сие тоже входит в наш modus vivendi и служит нам для очищения застоявшихся кровей... Эй, Галактионовна! — закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор, — перестань выть; хочешь водки?

— У вас незнакомый мущина... — застенчиво отозвалась Галактионовна, — я ведь не пойду в комнату постороннего мущины, как бесстыжая Глашка...

— А, теперь понимаю, — улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов, — наша Глафира сегодня в ударе... А у меня со вчерашних разговоров сегодня главизна зело трещит.

Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по

улице, к небольшому двухэтажному дому, где жил о. Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком; мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

— Я тебе говорю, друг мой, — мягко объяснял батюшка, — что я не могу, никак не могу... Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить и другим, понял?

— Андроник дешевле венчает, — говорил «друг мой», почесывая затылок.

— Ты, друг мой, и ступай к отцу Андронику; я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает, а я не могу... Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради Христа! — взмолился мужик. — Ведь страда наступает, до смерти сына надо женить; ведь время-то теперь какое... а?

— Не могу, друг мой...

Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими иззеле-

на-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения.

— А, очень рад, очень рад, — торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен... Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйте.

Батюшка пошел вперед меня; это был еще совсем юноша, лет двадцати двух, с бледным лицом, и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера; мягкий певучий голос и плавные движения делали это сходство поразительно близким, только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с преду-

предительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкою мебелью; у окна стоял хорошенький письменный столик, заваленный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий ковер на полу, — все было мило, прилично и совсем не по-поповски, за исключением неизбежных премий из «Нивы», которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам.

Батюшка позвонил в колокольчик; явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях; батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко:

— Пусть он придет сюда.

Мы остались вдвоем; батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оста-

вить эти занятия.

— Ведь вы войдите в положение русского священника, — говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. — Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас... Поставьте себя на мое место... Да, очень грустное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливые нарекания. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности... Но ведь, помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дрязгами нашего быта.

— Homo sum, nihil humanum mihi alienum est,[3] — с улыбкой прибавил батюшка. — Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе; подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные члены общества, — вот вам и целый circulus vitiosus,[4] из которого не мо-

жешь никак вырваться и который с каждым годом затягивает все сильней и сильней.

Эта мерная, как журчащий ручеек, речь о. Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный порыжевший драповый подрясник цвета Bismark-furioso; я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклипиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклипиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полки своего подрясника; яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же Bismark-furioso, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы — все это, вместе взятое с протяженно-сложенностью Асклипиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление, особенно рядом с чи-

стенькой и опрятной фигуркой о. Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле.

— Вы, отец Георгий, присылали за мной служанку… — нерешительно заговорил Асклипиодот приятным баритоном.

— Да, Асклипиодот, ты к завтрашнему дню приготовишь метрики и передашь их вот им, — проговорил о. Егор, показывая движением глаз на меня.

— А я, отец Георгий, думал… мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел… уволиться у вас.

— Ах, какой ты странный, Асклипиодот, — с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. — Если я тебя прошу… Неужели ты не понимаешь?

Асклипиодот сильно засопел носом и смолк; только пальцы руки, придерживавшей полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклипиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «вот тебе, о. Андроник, набродили мы с тобой рыбки…»

Поблагодарив батюшку за его любезную

готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет; в передней опрятная «служанка» не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклипиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками.

— А мы с Андроником собрались было рыбу бродить... — говорил Асклипиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки.

— Мне не нужно метрик сейчас, — объяснял я Асклипиодоту, — вы можете отправляться, куда угодно, а я подожду.

— А вы слышали, что он сказал? Да-с... Когда он скажет: «если я вас прошу», значит — кончено, вынь да положь, а то оштрафует или на поклоны поставит в алтаре... Он у нас мягко стелет, да жестко спать.

— Право, я не знаю, как быть с этим делом... Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы.

— Устроимте маленькую сделочку... у меня искра блеснула, — проговорил Асклипиодот. — Он вас непременно спросит после, ко-

гда вы получили от меня метрику, а вы и скажете, что сегодня.

— С удовольствием.

— Покорно вас благодарю... — проговорил Асклипиодот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.

Асклипиодот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об о. Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу; о. Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих палестинах. Это отсутствие любопытства в о. Егоре впоследствии совершенно объяснилось: батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе, и, как оказалось, его «служанка» ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к Фатевне и по пути заполучила все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухоедову; «искра»,

блеснувшая в голове Асклипиодота, и его благодарственный поцелуй моей руки были только аксессуарами, вытенявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus[5] нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спустился по улице под гору и очутился пред самой фабрикой, в недра которой меня не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок-караульщик; пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других — зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади, там и сям, виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные

валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня; они как-то особенно мягко ступали в своих «прядениках»; у входа в катальную, на низенькой деревянной скамейке, сидела кучка рабочих, вероятно, только что кончивших свою смену: раскрытые ворота рубашек, покрытые потом и раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки — все говорило, что они сейчас только вышли из «огненной работы».

Вдали, в грудах беспорядочно наваленных дров, мелькала пестрая, покрытая сажей толпа «дровосушек» и поденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем недвусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы, и громкий девичий смех, как-то мало гармонировавший с окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухоедова в глубине

рельсовой катальной; он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку; молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руке целый пук зажженной лучины; я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса, около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными клюками; где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — предупредил меня Мухоедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры.

Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался; это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких отдельных, «сваренных» между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернуть валы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдребезги. Двое рабочих в кожаных передниках, с тяжелыми железными клещами в руках, встали на противоположных концах ка-

тальной машины, тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью; рабочие ловко подхватывали эту красную, все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо.

— Ну что, видел огненную работу? — спрашивал меня Мухоедов, когда совсем готовый двенадцатипудовый рельс был брошен с машины на пол. — Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло.

Мы прошли в то отделение, где с страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски «маховик»; вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер.

Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой; молодой человек, машинист, одетый в замазан-

ную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика; около окна стоял плотный, приземистый старик с «правилом» в руке.

— Это наш плотинный, Авдей Михайлыч, — шепнул мне Мухоедов.

Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения; мы полюбовались вертевшимся в полторы тысячи пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской; обыкновенная войлочная шляпа, какую носили все рабочие, пестрядевая рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные пер-

чатки дополняли костюм Авдея Михайлыча; судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике.

— Вот этот молодец вместе с Слава-богу, — говорил Мухоедов, показывая на удалявшегося Авдея Михайлыча, — совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика... Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали, один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике, только клочья мяса остались; конечно, сейчас следователь явился, притянули на суд Слава-богу и Авдея Михайлыча, а они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист-то из-за них на поселенье, а им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство... Эксперты — свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел.

В катальной листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная

крица весила всего несколько фунтов; в печах мартена, в небольшое отверстие, я долго любовался расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа.

Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик, в лохмотьях и без шапки; он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детскою улыбкою забормотал:

— Здорово, Иваныч... Иваныч, здорово... убили... сорок восемь серебром убили... Да. Я приказал попу... я велел молебен, Иваныч...

— Это Яша-дурачок, — объяснил Мухоедов, — помешался на том, что он управитель завода.

— Иваныч... часы... купи часы... — бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек.

— Покажи, Яша.

— Часы, Иваныч... и ночью ходят, Иваныч...

Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак; спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу:

— Убили... сорок восемь серебром... Иваныч, убили!

— Яша всех зовет Иванычами, — объяснял Мухоедов.

После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли, точно клочья серебряной пены, легкие перистые облачка; фабрика казалась входом в подземное царство, где совер-

шается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на «огненное дело», как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал бог первому человеку и как это происходило именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сгорает самый богатый запас рабочей силы.

— А вон *Ястребок* наш прогуливается, — говорил Мухоедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. — Это наш надзиратель, Павел Григорьич Рукавицын; я у него под началом состою... Ужаснейшая бестия, берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным, а если кто не приходит с поклоном — и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич, тоже немаловажная птица в нашей иерархии; уставщик да плотинный — это два сапога — пара, теплые ребята и ловко обделывают свои делишки, а Ястребок видит — не видит, потому рука руку моет.

Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтанье у него было темно-зеленого цвета да шляпа немного пониже; он держал в руках такое же «правило» и ходил таким же медленным тяжелым шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и с своей стороны постарается и т. д. Я, конечно, поблагодарил его; эта мирная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось.

— Пал Григорич... крицей ногу отсадило, — равнодушно проговорил он, точно это было самым обыкновенным делом, — Степку Ватрушкина задавило...

— А... хорошо, я сейчас иду, — отвечал Рукавицын таким тоном, как будто одного его появления было совершенно достаточно, чтобы раздавленная нога какого-то Степана Ва-

трушкина сейчас же получила бы свой прежний вид.

Мы торопливо прошли в катальную; толпа рабочих с равнодушным выражением на лицах молча обступила у самой катальной машины лежавшего на полу молодого парня, который страшно стонал и ползал по чугунному полу, волоча за собой изуродованную ногу, перебитую упавшим рельсом в голени. Кровь сильно сочилась из пестрядевых портов, образуя около пряденика, где были намотаны онучи, целый мешок; раненый с обезумевшим взглядом обращался ко всем, точно отыскивая себе поддержки, участия, облегчения. Его молодое, искаженное страхом лицо было бледно как полотно, волосы прилипли ко лбу тонкими прядями, глаза округлились и вращались в своих орбитах с выражением оцепенелого ужаса, как у смертельно раненной птицы; мне в первый раз пришлось видеть раздавленного человека, и едва ли есть что-нибудь тяжелее этой потрясающей душу картины.

— Ба-атюшки!.. бра-атцы!.. Аааааа!.. Восподи Исусе!.. ой, смерть моя, братцы!.. — стонал

раздавленный раздирающим душу голосом.

— Степан, что это с тобой случилось? — спрашивал Рукавицын, наклоняясь над Ватрушкиным.

— Пал Григор!.. отец!.. о-ох! родимой мой!.. прости меня, Христа ради!.. ааааааа!!! Крицей ногу отрезало... Пал Григор... о!!!

— Доктора!.. — кричал Рукавицын, стараясь поддержать раненого в полусидячем положении. — Не пугайся, Степан, ничего... Бог даст, пройдет...

Какой-то господин с красным лицом, ястребиным носом, серыми вытаращенными глазами и взъерошенными волосами вбежал в катальную и, ожесточенно махая руками, издали кричал:

— А, шерт взял!.. а сукина сына!.. а швин!.. а канайль!.. Кто раздавиль?!. Где раздавиль?!. А, шерт меня возьми!!!

По вежливо расступившимся рабочим я догадался, что это и был сам Слава-богу; он наклонился к Ватрушкину, продолжая страшно ругаться.

— А ничего, шерт возьми... Пустяки!.. — Немец выпустил целую серию самых непе-

чатных выражений и продолжал кричать какую-то тарабарщину, в которой можно было разобрать слова: «швин», «канайль» и «бэстия».

— Карл Иваныч... ой, смерть моя пришла!.. — как-то глухо застонал Ватрушкин, совсем распускаясь на поддерживавших его руках.

— Дохтур... пустите дохтура! — опять заколыхалась толпа, пропуская небольшого роста женщину, почти девушку, которая бежала с полотенцем в руках.

Я не мог выносить дальше этой сцены и вышел скорее на свежий воздух; моя голова начинала тихо кружиться, и нужно было выпить несколько глотков холодной воды, чтобы прийти в себя. Машинально я прошел в дальний конец завода, где стояли домны, и опустился на низенькую скамеечку, приставленную к кирпичной стене какого-то здания; вид раздавленного человека подействовал на нервы самым угнетающим образом. Из оцепенения вывел меня тихий разговор двух рабочих, которых мне было не видно и которые, очевидно, разговаривали из-за какой-то рабо-

ты.

— Степку-то ладно как давануло, — говорил совсем молодой голос, сильно растягивая слова.

— У нас, почитай, каждую неделю кого-нибудь срежет у машины, — равнодушно отвечал немного хриплый басок. — Мы уже привыкли... оно только спервоначалу страшно, поджилки затрясутся, а потом ничего. Двух смертей не будет, одной не миновать.

— Но-но-но?!

— Верно тебе говорю.

Молчание; легкое посвистыванье, а затем опять разговор вполголоса.

— Это кому утюги-то отливать будут?

— Известно, кому: Ястребку.

Опять молчание; потом стук от чего-то тяжелого, брошенного в землю.

— А как-то намеднись, — продолжал второй голос, — я устроил какую штуку... Эдак же приготовил две формы да потихоньку и отлил два утюжка, а сам и похаживаю, как ни в чем не бывало. Совсем остыли, стал я из песку их лучиночкой откапывать... Сижу эдак на корточках, мурлыкаю про себя, а сам копаю.

Только, как на грех, шасть в формовальную «сестра» и прямо ко мне... «Чего делаешь?» — «А вот, говорю, под форму место выбираю...» Так нет, лесной его задави, точно меделянский пес, по духу узнал, где мои утюги, откопал их, показывает перстом и говорит: «Это што?» — «Утюги», — говорю... А потом в ноги... «Прохор Пантелеич, не сказывай надзирателю; ей-богу, в первый и последний раз...» Он-таки заставил меня в песке-то поваляться, а простил и утюги мои взял да к караульщику в будку и поставил; я поглядел это, и так мне стало жаль этих утюгов, так жаль... ну, просто тоска инда напала, и порешил я, что непременно я сдую эти утюги у «сестры». А «сестра» взять-то взяла у меня утюги, да и забыла про них, а я каждый день к караульщику наведываюсь, хоть издали полюбуюсь на них, а они, утюжки-то, стоят на полочке кверху носочками и, точно чирочки, выглядывают на меня... Дня три эту муку я примал, а потом караульщик отвернулся из будки, я утюги за пазуху да прямо к целовальнику, двугривенный без слова отдал... Во как!

— Ловко!..

— Уж так вышло ловко, что и не придумаешь. После «сестра»-то хватилась утюгов, прибежала к караульщику, а их и след простыл... «Сестра» ко мне: «Твоих рук дело, Елизарка?»

— Н-но-о?

— Верно... «Окромя тебя, говорит, некому такой пакости сделать...» Ну, да с меня взятки гладки, с голого, что со святого, немного возьмешь. Шшш!..

Послышалось предостерегавшее шипение, а затем осторожный шепот и сдержанный смех:

— Елизарка, ли-ко, ли-ко: «сестры»-то...

— Ах, родимые мои, сколь они хороши, сердешные!

Я оглянулся, в мою сторону приближался плотинный и уставщик, это и были те «сестры», о которых рассказывал плутоватый Елизарка своему товарищу; трудно было подобрать более подходящее название для этой оригинальной пары, заменявшей Слава-богу уши и очи. Когда я выходил из завода, в воротах мне попался Яша, который сильно размахивал своей палкой и громко кричал:

— Убили... Иваныча убили... сорок восемь

серебром... убили... приказываю... спасибо, Иваныч, начальство уважаете! Иваныч, уби-ли...

III

Мухоедов вернулся очень поздно из завода; он был бледен, расстроен и страшно ругался, бегая по своей комнате из угла в угол.

— Ведь ты только пойми: семья, один работник и теперь ему отнимут ногу! — горячился Мухоедов. — И ведь это обыкновенная история... Впереди бедность и нищета, голодные ребятишки... а наше заводоуправление хоть бы палец разогнуло в пользу этих калек! Этот Слава-богу до того был отвратителен давеча, что, право, с удовольствием бы сотворил ему заушение... Ах, подлецы, подлецы! Вот ты составь-ка статистику этим калекам по милости Слава-богу и тем грошовым пособиям, которые выдаются им единовременно в размере двух — трех рублей!.. Это два рубля получить за целую ногу, за рабочую силу, которая вынесет пятнадцать лет огненной работы?!!

Вечером мы отправились к Гавриле Степанычу. Мухоедов всю дорогу не переставал говорить о «самородке», припоминая из его жизни один эпизод за другим.

— Ты представь себе хоть такую картину, — ораторствовал мой приятель, шагая рядом со мной. — К тридцати годам Гаврило Степаныч выбился из черного тела, его определили механиком на завод... У него была знакомая девушка, которую он очень любил и которая, в свою очередь, отвечала ему тем же, — и что же? Ты думаешь, он женился?.. Ничуть не бывало... Да не в этом сила, что он не женится, а в том, из-за чего не женится. У него, видишь ли, был какой-то брат, этот брат умер и оставил после себя большую семью без гроша денег, и вот Гаврило Степаныч сказал себе, что не женится, пока не выведет в люди своих племянников и племянниц... Сказал и сделал. Восемь лет убил на них, выучил и определил на места, невеста все ждала, а потом они соединились узами брака и теперь живут, яко два голубка. Я давеча из завода посылал ему сказать, что тебя приведу.

Мы подошли к небольшому домику в пять окон, до нас донеслись звуки рояля и певший что-то мужской приятный голос; потом послышался очень сильный кашель, продолжавшийся все время, пока мы поднимались

по небольшой лесенке в сени и раздевались.

— Ну, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла?! — заговорил Мухоедов, врываясь в небольшую гостиную, где из-за рояля навстречу нам поднялся сам Гаврило Степаныч, длинный и худой господин, с тонкой шеей, впалыми щеками и небольшими черными глазами. — Что тебе доктор сказал... а? Ведь тебе давно сказано, что подохнешь, если будешь продолжать свое пение.

— Нельзя, сегодня у нас спевка, — мягко отвечал Гаврило Степаныч, здороваясь со мной.

— Что же, ты, вероятно, будешь кашлять по нотам? Вот рассуди, пожалуйста, — обратился Мухоедов ко мне, тыча Гаврила Степаныча рукой в грудь. — Вот человек одной ногой в могиле стоит, на ладан дышит и продолжает себя губить какими-то спевками... Не есть ли это крайняя степень безумия?..

— Ты можешь успокоиться, — говорил Гаврило Степаныч, усаживая нас около круглого стола, — я на днях переезжаю на Половинку и проживу там до осени... Можешь рассчитывать смело, что я переживу тебя. Ах, да рас-

скажи, пожалуйста, что это произошло в заводе? Я сегодня посажен доктором на целый день в комнату и слышал только мельком, что Ватрушкину ногу рельсом отрезало. Как дело было?

— Как дело было?.. Отрезало ногу и вся недолга... Ну да не стоит об этом говорить, словами тут не поможешь, самое проклятое дело, а вот ты, братику, переезжай скорее на Половинку, мы к тебе в гости будем ездить. Ах, Александра Васильевна, здравствуйте, голубушка; вот я вам статистику привел головой!..

Среднего роста белокурая дама с бледным, спокойным и выразительным лицом протянула мне руку, улыбнулась своей спокойной улыбкой и проговорила, обращаясь к Мухоедову:

— Скажите, Епинет Петрович, что было в заводе?

— Ах, не спрашивайте: раздавило живого человека настолько, что он еще может прожить нищим до ста лет... Слава-богу обругал нас всех, Ястребок тоже дуется на кого-то — словом, самая обыкновенная история.

Небольшая гостиная, в которой стоял рояль, была почти совсем без мебели, за исключением небольшого диванчика, круглого столика пред ним и нескольких венских стульев; на стенах, оклеенных голубенькими дешевыми обоями, висело несколько олеографий. Неровный пол был когда-то покрыт желтой краской, а теперь остались только кой-где следы этой краски; воздух был пропитан, как в больнице, запахом каких-то лекарств и тяжело действовал на свежего человека. Из передней небольшая дверь вела в кабинет хозяина, маленькую комнату, выходившую двумя светлыми окнами на двор; в кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами, около стен стояли два больших шкафа с книгами. И гостиная и кабинет отличались вообще большой простотой обстановки, близко граничившей с бедностью.

Александра Васильевна спросила самовар, и сама принялась угощать нас чаем; после некоторой неловкости, которую неизбежно вносит с собой каждый новый человек, мы разговорились, как старые знакомые.

— У меня просто на совести этот Ватруш-

кин, — говорил Гаврило Степаныч, — из отличного работника в одну секунду превратиться в нищего и пустить по миру целую семью за собой... Ведь это такая несправедливость, тем более, что она из года в год совершается под носом заводоуправления; вот и мы с тобой, Епинет, служим Кайгородову, так что известная доля ответственности падает и на нас...

Гаврило Степаныч говорил с тяжелой одышкой, постоянно вытягивая длинную шею, точно его что-то душило; его длинные костлявые руки с широкими холодными ладонями бессильно лежали на коленях какими-то палками. Синие, сильно вздутые жилы на лбу, висках, шее и на руках, серовато-бледная кожа, с той матовой прозрачностью, какая замечается у больных в последнем периоде чахотки, — все это были самые верные признаки, что Гаврило Степаныч не жилец на белом свете, и я только удивлялся, как Мухоедов не замечал всего этого...

— Самый крепкий рабочий израбатывается в пятнадцать лет на огненной работе, — продолжал Гаврило Степаныч, отпивая

несколько глотков из своего стакана. — И все-таки живет он изо дня в день, в будущем у него ровно ничего, а в случае несчастия — нищета. Да чего лучше, я расскажу вам такой случай. Есть у меня знакомый углепоставщик, мужик зажиточный, лет десять исполняет исправно подряд; заготовка дров, обжигание угля, вывоз угля в завод — вот это стоит огненной работы, и, кроме того, это очень сложная операция, растянутая на целый год, и вдобавок деньги начинают выдавать только вместе с вывозом угля, так что только зажиточный двуконный рабочий может приняться за ее выполнение. И что же, падет лошадь, сгорит кученок — мужик разорился. Я стал вам рассказывать про своего знакомого углепоставщика: приходит ко мне осенью, когда пал первый снег, и в ноги... Что такое? Так и так, настрадовал летом большой зарод сена, приехал по первопутку за сеном, а вместо зарода одни стожары стоят... Нужно вывозить уголь, пора самая спешная, а кормить лошадей нечем и сена купить не на что; а время идет, каждый час дорог, мужик сунулся к нашим «сестрам»... Это рабочие так плотинного

и уставщика у нас зовут. Одна «сестра» запросила рубль на рубль, другая полтораста процентов, вот мужик и прибежал ко мне, плачет — или продавай лошадей и уголь на месте за бесценок, или ступай в кабалу к «сестрам». Ведь положение безвыходное, а это самый справный мужик, отличный работник. Вы видите, как немного нужно рабочему, чтобы сделаться нищим, а между тем, судя по заработкам, нужно бы всем жить зажиточно; вся суть в том, что рабочий не умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастия и постоянно зарывается, а как зарвался — одна дорога к «сестрам», те последнюю шкуру спустят.

Гаврило Степаныч подробно и с большим азартом рассказал историю основания пеньковского ссудо-сберегательного товарищества, которое прошло через целый ряд мытарств: сначала тормозили дело «сестры», потом каким-то образом вмешались Ястребок и Слава-богу, наконец, после всех этих передряг, посланный министру финансов устав товарищества утвержден, и товарищество открыто. Мухоедов не преминул ввернуть в раз-

говор «паллиативы врачихи».

— По-моему, врачиха с своей точки зрения права, — говорил Гаврило Степаныч, — она смотрит с точки зрения той теории, которая говорит, что чем хуже, тем лучше, и предпочитает оставаться в величественном ожидании погоды, а по-моему, самое маленькое дело лучше самого великого безделья. Странно только одно: почему люди, получившие даже высшее образование, так отвертываются от наших небольших предприятий; пословица говорит — и Москва не вдруг строилась: нельзя же прямо из-под правила «сестер» да фаланстерию устраивать... Все нужно вдруг, разом, — вот наша беда; а где приходится тянуть из года в год, даже целую жизнь, сейчас и на попятный двор: спрятался за умное слово, все, мол, это паллиативы и вы-де, господа, идеалисты...

— Вот это отлично сказано, — восхищался Мухоедов. — Именно: спрятался...

— Конечно, есть у нашего товарищества свои слабые места, — продолжал Гаврило Степаныч. — Мы пока не можем выдавать больших ссуд и, следовательно, не можем вы-

рвать рабочего из крепких рук «сестер»; затем, товарищество не пользуется настоящим кредитом в глазах рабочих, которые смотрят на него, как на пустую затею. А главное — товарищество в самом себе несет зародыш своей гибели, потому что его появление и существование связано с нашей жизнью: не стало нас, и товарищество распадется... Я не закрываю глаз на все эти недостатки и даже, может быть, преувеличиваю их; но ведь это товарищество — первый шаг. Имеет громадную важность самая форма, она приучает рабочего к мысли, что единственное его спасение в артели. От ссудо-сберегательного товарищества мы перейдем к обществу потребителей; может быть, и удастся вырвать рабочего не только из рук «сестер», но и из рук прасолов, которым рабочий теперь переплачивает на каждой тряпке, на каждом фунте муки. Главное: пусть сначала привыкнут к самой форме артели и не смотрят на дело, как на медведя, а содержание явится... Да.

Все это высказывалось порывисто, прерывалось страшным судорожным кашлем, после которого Гаврило Степаныч должен был

отдыхать и пить какие-то успокоительные капли; Александра Васильевна мало принимала участия в этом разговоре, предоставляя мужу полную свободу высказать все, что у него накипело на душе. По ее ласково смотревшим, встревоженным глазам можно было читать, как по книге, насколько сильно она любит этого больного, кашляющего человека; она, вероятно, тысячу раз уже слышала эти разговоры, но опять слушала их с таким вниманием, как будто все это ей приходилось слышать в первый раз. Так умеют слушать только глубоко любящие, честные натуры, которые не отделяют себя от любимого человека.

— Много ли вас, не надо ли нас? — послышалось неожиданно из передней, где происходила какая-то тяжелая возня и сильный топот, точно закладывали лошадь.

— А, это вы, отче? — заговорил Гаврило Степаныч, вставая навстречу входившему в комнату невысокого роста старику священнику, который, весело улыбаясь, поздоровался со всеми, а меня, как незнакомого человека, даже благословил, чего молодые батюшки,

как известно, уже не делают даже в самой глухой провинции, как, например, о. Георгий, который просто пожал мою руку.

— А мне говорил о вас Асклипиодот, — добродушно басил о. Андроник — это был он, — поглаживая свою седую бороду. — Вы совсем было нас без рыбы оставили... А каких мы окуней набродили с ним, во! — Отец Андроник отмерил на своей пухлой, покрытой волосами руке с пол-аршина. — Ей-богу, так... А метрику Асклипиодот вам завтра же доставит, только вы уж Егору-то ничего не говорите, а то он сейчас архирею ляпнет на нас, ни с чем пирог.

— Кто это «ни с чем пирог»? — спрашивал Мухоедов.

— А Егорка-то наш злемудрствующий!.. Он и есть «ни с чем пирог».

Асклипиодот смиренно стоял в дверях в своем неизмеримом подряснике цвета Bismark-furioso, нерешительно улыбался и по-прежнему целомудренно придерживал расходившиеся полки; Александра Васильевна предложила ему стул. Асклипиодот неловкой походкой перешел через комнату, точно он

шел по льду, и поместился на самом кончике стула, продолжая придерживать одной рукой полы. Отец Андроник был среднего роста, некрасиво скроен, но плотно сшит; его добродушное широкое лицо с сильно выдавшимися скулами и до самых глаз обросшее густой бородой, так и дышало беспредельным добродушием и какой-то особенной старческой веселостью, а в больших темных глазах так и светились искорки, особенно когда он улыбался. Одет о. Андроник в зеленый подрясник, широкий гарусный пояс, каких молодые батюшки не носят, поверх подрясника была надета отцветшая ряска небесного цвета, полки которой на круглом, как арбуз, животе о. Андроника совсем расходились; говорил о. Андроник страшным басом, любил громко хохотать, время от времени извлекал откуда-то из глубины своих карманов небольшую серебряную табакерку и громогласно набивал свой большой, обросший волосами нос нюхательным табаком, который он называл «антихристовым порошком». В фигуре и в привычках о. Андроника природа все пустила в больших размерах, не затруднив себя особенно тща-

тельной отделкой деталей.

— А ведь у меня хина-то на вторые яйца села, Александра Васильевна! — торжественно объявил о. Андроник, принимая от хозяйки второй стакан чаю. — Вот спросите у Асклипиодота, он вам все расскажет…

— В самом деле?! Ваша хина — удивительная курица, — отозвалась Александра Васильевна, для которой все хозяйственные вопросы и раритеты были необыкновенно близки к сердцу.

— Да-с… Хина третий год по три раза на яйца садится, — объяснял Асклипиодот, обжигая пальцы горячим чаем. — Она с первого февраля начинает нести каждый день и в половине апреля садится на первые яйца; в мае выводит цыплят, опять несет яйца, а в середине июня садится на вторые яйца. Когда выведет вторых цыплят и нанесет яиц, в конце июля садится на третьи яйца. Очень плодородная курица…

— Она мне больше сорока цыплят каждый год выводит, — с гордостью заявлял о. Андроник. — У меня Егорка, «ни с чем пирог», припрашивал было одну молодку, только я ему

перышка куриного не дам, не то что курицы; я вам, Александра Васильевна, с Асклипиодотом пошлю завтра парочку молодок и петушка. Спасибо скажете старику: яйца несут по кулаку...

— Мне совестно, отец Андроник, — заговорила Александра Васильевна, которой хотелось иметь молодок и не хотелось брать их даром. — Я у вас покупала, да вы тогда не продали мне...

— И теперь не продам, потому это не порядок: за деньги молодки нестись не будут, не такое это дело, чтобы за деньги его можно было купить. Да. А что вам совестно от меня молодок в подарок, так это пустое: дело житейское, как-нибудь сочтемся... Поповские глаза завидущие, чего-нибудь припрошу — вот и квиты.

— Вам бы, отец Андроник, вашу хину куда-нибудь на сельскохозяйственную выставку послать, — предлагал Мухоедов. — Выдали бы диплом или медаль...

— Кому?

— Вашей хине, конечно.

— О, ха! ха!.. — разразился о. Андроник та-

ким смехом, что стекла в окнах зазвенели. — Моей хине медаль... О, ха! ха! ха!.. Как чиновнику... Ха! ха!.. У Егорки диплом, и у хины диплом; у Егорки медали нет, а у хины медаль... О, ха! ха!.. Сморил ты меня, старика, Епинет Петрович... Асклипиодот: курице — медаль... ммеда-ааль... а?

Долго хохотал о. Андроник, надрываясь всем своим существом, Асклипиодот вторил ему немного подобострастным хихиканьем, постоянно закрывая рот широкой корявой ладонью; этот смех прекратился только с появлением закуски и водки; о. Андроник выпил первую рюмку, после всех осмелился выпить Асклипиодот; последний долго не мог поймать вилкой маринованный рыжик, даже вспотел от этой неудачи и кончил тем, что взял увертливый рыжик с тарелки прямо рукой.

— А ведь Галактионовна на меня стихи написала, — заявлял о. Андроник после второй рюмки. — Вот Асклипиодот слышал... Все описала, скрипка этакая!

— А я знаю эти стихи, отец Андроник, — говорил Мухоедов. — Хотите — прочитаю?..

— Н-но?

— Вы не обидитесь?

— Я?.. Да ведь мне все равно; я знаю, кто Галактионовну науськивает на меня: это Егорка… Читай, братчик, я послушаю.

Мухоедов откашлялся и прочел длинное стихотворение, начинавшееся словами:

Днесь пеньковская страна прославляется,
Отец Андроник в сметане валяется…

Мы хохотали, как сумасшедшие, а громче всех хохотал сам о. Андроник; когда Мухоедов кончил, он проговорил:

— Может быть, а врет… Никогда я в сметане не валялся: все врет!.. Это ее Егорка научил… Только я, братчик, когда-нибудь доберусь до него!..

После закуски происходила самая спевка, Александра Васильевна села за рояль, а Гаврило Степаныч, о. Андроник и Асклипиодот исполнили трио несколько пьес Бортнянского и Львова с таким искусством, что у меня от этой приятной неожиданности по спине мурашки заползали, особенно если принять во

внимание то обстоятельство, что каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к «духовному», а трехголосная херувимская приводит не только в восторг, но даже в состоянии исторгнуть слезы умиления. Гаврило Степаныч владел довольно сильным тенором, о. Андроник «давил октавой», Асклипиодот пел баритоном; мне особенно нравился последний. Он встал в уголок позади рояля, по обыкновению захватив одной рукой полки своего подрясника, а другой прикрыл рот, но из его шершавой глотки полились такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что октава о. Андроника и тенор Гаврилы Степаныча служили только дополнением этому богатейшему голосу, который то спускался низкими мягкими нотами прямо в душу, то с силой поднимался вверх, как туго натянутая струна. Особенно эффектно были исполнены «Симановская» — херувимская Бортнянского, «Хвалите имя господне», его же, и, наконец, как chef-d'oeuvre, совсем незнакомая мне херувимская «Раззоренная».

— Право, стоит жить, чтобы слушать эти мотивы, — шептал Мухоедов, совсем съежив-

шись в углу дивана.

Это пение было прервано страшным кашлем Гаврилы Степаныча, с которым сделалось даже что-то вроде припадка, — хлынула кровь горлом, и он начал задыхаться.

— Ничего, ничего… Не беспокойся, Саша, — успокаивал он жену. — Ведь это со мной бывает… пройдет…

— Ведь говорил я тебе, говорил… — корил Мухоедов своего приятеля, который только печально улыбнулся и, махнув рукой, низко наклонил свое побледневшее лицо.

— Уеду я скоро… поправлюсь, — с улыбкой говорил Гаврило Степаныч, прощаясь с нами. — Спасибо, господа… Саша, проводи их… Спасибо, Асклипиодот… Славный, братец, у тебя голос… разжалобил ты меня…

— А Галактионовна, братчик, соврала насчет сметаны-то: не валялся!.. Нет, совсем не валялся! — говорил дорогой о. Андроник, который со мной обращался уже на «ты».

— А я, отец Андроник, сконфузил ее недавно, — вмешался Асклипиодот, забегая вперед.

— Расскажи, братчик…

— Видите ли, отец Андроник… Хорошо!..

Как я услыхал, что она вас в стихах описала, пошел к ней. Хорошо! Так и так, все ей объяснил, как она нехорошо поступает, а потом и говорю: ты, Галактионовна, того гляди, помрешь, а кто тебя отпевать будет? «Отец Егор». — Хорошо, говорю, а если, говорю, отец Георгий уехал с требой, или захворал, или, говорю, не его неделя, кто, говорю, тебя отпевать будет? Хорошо. А Галактионовна мне: «Кто-нибудь отпоет, ведь во мне не песья, а христианская душа; ты же, говорит, с Андроником будешь отпевать...» Хорошо, говорю, мы тебя будем с отцом Андроником отпевать, только с вершка... Очень она сконфузилась от моих слов, отец Андроник.

— Отлично, братчик, умница!.. С вершка отпевать?! О, ха! ха! Кто это тебя научил, Асклипиодот?

— Сам придумал... от собственного чрева! Хе-хе!..

Мы посмеялись и разошлись; вечером, когда мы лежали уже, в своих постелях, Мухоедов проговорил в темноте:

— Ну что, каков самородок?

— Отличный человек.

— Это еще что, он это еще только начал, — задумчиво говорил Мухоедов, — он тебе еще не успел ничего рассказать о производительных артелях, о ремесленных школах, а главное — он не сказал тебе, какую мы мину под «сестер» подвели... Вот так штуку придумал Гаврило! Андроник понравился тебе? Я его очень люблю, не чета этому прилизанному иезуиту Егору... А как пел Асклипиодот? А?

В эту минуту в нашей улице послышалось страшное пение: кто-то так затянул «вечная память», что на пять кварталов было слышно.

— Это Асклипиодот отпевает Галактионовну, — равнодушно проговорил Мухоедов, закутываясь в свою сермяжку. — Когда выпьют с Андроником, непременно устроят что-нибудь. Это они ей за стихи отплачивают.

IV

В Петербурге можно жить несколько лет с кем-нибудь на одной лестнице и не знать своих соседей даже в лицо, но в провинции, в каком-нибудь Пеньковском заводе, в неделю знаешь всех не только в лицо, а, nolens volens, [6] совершенно незаметно узнаешь всю подноготную, решительно все, что только можно знать, даже немного более того, потому что вообще засидевшийся в провинции русский человек чувствует непреодолимую слабость к красному словцу, особенно когда дело касается своего ближнего.

Так называемых тайн для провинции не существует, здесь все известно, все живут на виду и потихоньку злословят друг друга; прожив в Пеньковке какую-нибудь неделю, я вошел в этот круг всеведения и знал не только прошлое и настоящее моих новых знакомых, но отчасти даже их будущее. Например, встанешь рано утром, чтобы успеть до жару кое-что разобрать из собранных материалов, и вперед знаешь, что сейчас же услышишь бесконечную ругань Фатевны сначала на мужа

(старик в пестрядевой рубахе, который вывозил навоз, оказался мужем Фатевны), затем с Галактионовной, а потом начинается бесконечная расправа с Фешкой и Глашкой; после этого Фатевна отправляется на рынок, где она торговала мукой, солью, крупами, овсом, сбруей, мылом и дегтем. Фатевна была тем, что в Пеньковке называют «шило-баба», и обладала действительно замечательным проворством, неутомимостью и энергией; кроме своей торговлишки, она занималась покупкой лошадей, собственноручно их объезжала, а затем сбывала с рук самыми разнообразными способами: продавала, меняла, пускала на заводскую поденщину и даже брала подряды на извоз. Не успеешь оглянуться, а у Фатевны опять новая лошадь, и она едет на ней с шиком завзятого наездника, который умеет показать товар лицом. Муж Фатевны находился в полнейшем загоне, постоянно вывозил навоз, точно у Фатевны были авгиевы стойла, и жил в какой-то конурке на заднем дворе, рядом с цепной собакой, такой же злой, как сама хозяйка.

После того как Фатевна удалялась на ры-

нок, на сцене появлялась Галактионовна; она скромно садилась на крылечко своего флигелька и ковыряла какую-нибудь работишку до обеда, перебрасываясь острым словечком с Фешкой и Глашкой, которые, после ухода мамыньки, ходили на головах. Чем жила Галактионовна — трудно сказать; но она жила в своей собственной избушке, и ей оставалось заработать на хлеб, чего она достигала при помощи швейной машины, стучавшей в ее избушке по вечерам; если не было работы, Галактионовна посвящала свои досуги поэзии, и в ее стихах из года в год проходили события и лица Пеньковского завода. Когда-то, вероятно очень давно, отец Галактионовны служил управителем на одном из заводов Кайгородова, затем он умер, и Галактионовна осталась христовой невестой отчасти по своему безобразию, отчасти по бесчисленным физическим немощам, которые ее одолевали; дом Фатевны принадлежал Галактионовне, последняя продала его Фатевне с условием жить ей, Галактионовне, в своем флигельке по смерть. Фатевна, вероятно, рассчитывала на скорую смерть Галактионовны, принимая во внима-

ние ее немощи, но последняя продолжала жить год за годом и, кажется, совсем не думала умирать: это обстоятельство вызывало самые горячие сцены, причем противные стороны высказывались вполне откровенно.

— Пропасти на тебя нет, моль этакая! Ведь ты моль... моль!.. — выступая фертом пред Галактионовной, кричала Фатевна. — Чужой век заживаешь... На том свете тебя давно с фонарем ищут!

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — огрызалась Галактионовна, закрывая по обыкновению рот рукой, что она делала в тех видах, чтобы не показывать единственного гнилого зуба, отшельником торчавшего в ее верхней челюсти, — бог даст, тебя еще похороню. Лихое споро, не избудешь скоро; нас с Гаврилой Степанычем еще в ступе не утолчешь... Скрипучее-то дерево два века живет!

— Не скули! — отрезывала Фатевна.

Когда не с кем было спорить и ссориться, Галактионовна любила думать вслух: в эти моменты она действительно сильно походила на скрипучее дерево.

— Ей ладно, зазнаваться-то, — говорила Га-

лактионовна каким-то совершенно особенным тоном, точно ручеек журчит: она в разговорах Галактионовны означало Фатевну: — Она купит по осени, как снег выпадет, возов пятьдесят муки по тридцать пять копеек за пуд, а весной да летом продает пуд по семьдесят копеек.[7]

В каждом возу будет пудов двадцать пять, всего выходит тысячу двести пятьдесят пудов; с каждого пуда она наживет тридцать пять копеек, а со всей муки пятьсот рубликов и положит в карман... Овса тысячу пудов купит по тридцати копеек, тоже рубль на рубль возьмет, глядишь, опять триста рубликов в карман. Ох, хо-хо!.. А вот наша сестра и во сне таких денег не видывала... Купишь пудик мучки-то, да и перебиваешься с ним, как церковная мышь!.. Только, по-моему, она неверно поступает, что такие деньги с нас дерет...

— Не пойдут ей эти деньги впрок. Погляди-ко, как рабочие-то в огненной работе маются, чтобы ей на хлебе-то переплачивать... Вот хоть взять ее девис: за материны грехи бог счастья-то и не посылает, женихов-то мы

еще не видывали, а девисы на возрасте, — у них что на уме? Когда мущина спит — они к нему в комнату норовят зайти... Тьфу!.. Ведь девису-то, как муку, не завяжешь в мешок да не вывезешь на базар продавать: купите, мол, дешево отдам. За девисой-то, ой, какие глаза надо, все равно как за водой: прорвало плотину и кончено...

«Девисы» Фатевны представляли замечательное явление в своем роде: насколько сама Фатевна служила воплощением энергии и «разрывалась по всем частям», как выражалась о ней Галактионовна, настолько ее «девисы» жили исключительно растительной жизнью и специально занимались «нагуливанием жира». Фешка имела поразительное сходство и по образу жизни, и по привычкам, и по характеру с телкой, откармливаемой на убой; Глашка тоже находилась под гнетом инерции, но иногда на нее находили минуты просветления, и она начинала «жировать», то есть лежит, например, по целым часам на солнце, как разваренная рыба, а потом вскочит, опрометью бросится в комнату или на двор, затеет отчаянную возню с Фешкой, или

визгливым голосом затянет удалую песню. Явится ночью в комнату, когда в ней спят «мущины», устроит купанье в пруду прямо под нашими окнами, — все это Глашке было нипочем; Мухоедов был не прочь подурачиться, когда Глашка была в ударе, и тогда весь дом оглашался отчаянными взвизгиваньями Глашки, полновесными ударами и самыми откровенными шутками. Мухоедов дурачился, как школьник, и в простоте своей души даже не подозревал, что это взвизгиванье, полновесные удары и «лошадиные нежности» могли привести к чему-нибудь серьезному, хотя Глашка после такой игры подолгу отлеживалась где-нибудь на холодке и изнашивала большие синяки.

Тема о «девисах» принадлежала к числу бесконечных, и Галактионовна целые часы могла говорить на нее, только другая тема, предметом которой была сама Галактионовна, лежала еще ближе к ее сердцу. — Схватило меня как-то раз сердцем, — рассуждает она вслух, — послала за доктуром. Приехал доктур, увидал у меня швейную машину и говорит: «Это твоя смерть стоит...» А я ему: «Нет,

господин доктур, это мой хлеб, только машиной и кормлюсь...» — «Умрешь», — говорит. «А бог-то?» — говорю. Рассмеялся доктур и уехал, а я третий год на машине работаю после того и живехонька...

Галактионовна долго смеется незлобивым детским смехом, крестит рот и зевает.

— Прошлой осенью вздумали мы с Фатевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника божия, она по обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, говорит Фатевна, живой ногой отхватаем полтораста верст». Пошли. Только отошли верст двадцать, и сделайся оттепель: ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем, а доктур строго-настрого заказал пуще всего ноги беречь: «Простудишь, говорит, сейчас попа зови и гроб заказывай». Девять ден брели мы с Фатевной до Верхотурья: и плутали по малым дорогам, и ночевать нас в избу мужики не пускали, и волки-то в стороне выли, и голодом-то двое суток мучались... Идем это, я и говорю Фатевне: «Точно мы с тобой в пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На десятый день пришли в Вер-

хотурье, отслужили угоднику молебень, выняли просвиру за здравие да в обратный путь; опять семь ден шли, только тут ударил на нас холод, я и смеюсь Фатевне: «Это за твои грехи угодник нас казнит холодом...» Она меня всю дорогу за это костерила... И вернулись мы здравы и невредимы, я нарочно пошла к доктуру, принесла ему просвирку заздравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал да головой покачал. «Ты, говорит, надо полагать, бессмертная...»

Мухоедов являлся из завода только к обеду, а после обеда уходил еще часа на три, так что свободным от занятий он был только вечером; а только сядем мы за самовар, смотришь, кто-нибудь в двери, чаще других приходили о. Андроник и Асклипиодот. Я с первого раза полюбил оригинального попа, громкая речь которого всегда была приправлена крупной солью и таким необыкновенно заливистым смехом, начинавшимся с высочайшего тенора, что невольно на душе делалось светлее, и мы каждый раз от души хохотали вместе с о. Андроником. От природы это был

очень сильный и, главное, вполне оригинальный ум; по-своему о. Андроник был хитер, скуп, добр и простодушен — как в истинно русском человеке, достоинства и недостатки в нем представляли самую пеструю картину, но он и не выставлял напоказ первых и не прятал последних, а всегда был нараспашку.

— Не-ет, братчик, я люблю деньгу, — добродушно говорил он. — Я не попущусь своему, мне подай мое. Вот приехал к нам поп Егор и давай новые порядки заводить: «Не хочу осеннего собирать...» Не хочешь, так как хочешь, а я буду собирать, потому мне отдай мое. Я приду к бабе и вижу, что она мнется, не хочет попу сметаны или масла давать, а я ей сейчас: «А ведь ты, такая-сякая, помолодела ровно... Вон какая гладкая стала». Баба и расступится, лишнюю ложку сметаны и отвалит. Ха-ха-ха!.. Если баба на это не сдается, я ей сейчас: «Ой, баба, баба, умрешь, все останется, а кто тебя отпевать будет?» Пред этим, братчик, ни одна баба устоять не может, хоть самое ее в бурак клади. Егорка, тот осеннее не любит собирать, ему подавай деньгами, — деньги тоже любит, а брать не умеет. Приду-

мал цену набавлять за требы, а мужики на дыбы, артачатся.

Отец Андроник был вдов и жил как старый холостяк, окружив себя всевозможными животными: индейками, курами, овцами, собаками, лошадьми; за хозяйством у него присматривала какая-то таинственная дальняя родственница, довольно молодая бабенка Евгеша, ходившая в темных платьях и в темных платочках, как монастырская послушница. Когда кто-нибудь бывал у о. Андроника, Евгеша не показывалась, а сам о. Андроник не любил говорить о ней; молва гласила, что эта таинственная Евгеша сильно зашибала водкой и ходила вечно в синяках, происхождение которых объясняли различно.

Если кто-нибудь, с намерением уязвить о. Андроника, заводил речь о Евгеше, он сильно хмурился, а потом с азартом возражал:

— Она у меня за козлухами ходит... Сам, что ли, я козлух доить буду? А куриц кто будет щупать?

Жил о. Андроник очень плотно в своем собственном домике, выстроенном в купеческом вкусе; три небольших комнатки зимой

и летом были натоплены, как в бане, и сам хозяин обыкновенно разгуливал по дому и по двору в одном жилете, что представляло оригинальную картину. Мебель в комнатках о. Андроника была сборная: на окнах стояли какие-то полузасохшие «петухи» герани и красный перец, который особенно любят отставные солдаты, потому что и дешево и сердито; гостей угощал о. Андроник одной водкой и чаем, весело рассказывал пикантные истории и хохотал над ними своим заливистым хохотом больше всех. В минуту одушевления он снимал со стены довольно ветхую гитару и не без чувства изображал какой-то «Плач Наполеона» и даже польку трамблям. Вся эта видимая бедность обстановки о. Андроника и скромные привычки вполне выкупались блаженной мыслью о некоторой крупной сумме, лежавшей частью в каком-то банке, а частью у какого-то знакомого купца, — в ссудо-сберегательное товарищество Гаврилы Степаныча о. Андроник не верил ни на волос и ни под каким видом не соглашался отдать даже нескольких рублей на сохранение товарищества.

— Не-ет, братчик, — говорил он, — и мы не в угол рожей-то: отдай им денежки-то, а потом и заглядывай, как лиса в кувшин...

Асклипиодот был полнейшей противоположностью о. Андроника во всех отношениях и, вероятно, в силу такой противоположности своего ума и характера был привязан к о. Андронику, как собака, и всюду ходил за ним по следам; это была широкая русская натура, одаренная известной поэтической складкой, что, взятое вместе с самой широчайшей бесхарактерностью и непреодолимой страстью к водке, сделало Асклипиодота неудачником и вечным дьячком. По своему уму и особенно по своему богатейшему голосу он смело мог рассчитывать на дьяконское место, но это заветное желание оказалось решительно неосуществимым, потому что нет-нет Асклипиодот в чем-нибудь и попадет: подерется в пьяном виде, сгрубит попу, поколотит жену — словом, устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, что начальство мотает себе на ус, а Асклипиодот сидит себе да сидит в дьячках. Жил он в маленькой, сильно покосившейся набок избушке, у которой одно окно было за-

крыто ставнем, а половина другого была заклеена частью синей сахарной бумагой, частью пузырем; издали эта избушка сильно походила на физиономию пьяницы, которую с жестокого похмелья повело набок, один глаз залеплен пластырем, другой сильно подбит. В этой избушке было «полное отсутствие всякого присутствия», — точно кто переехал с квартиры, да так все и осталось: в одном углу позабыли трехногий стул, в другом скелет дивана, на стене несколько разорванных картин — правая половина какого-то генерала, половина архирея и т. д. Мы уже сказали, что Асклипиодот был очень «слаб к вину», с двух рюмок он уже начинал пьянеть, раскисал и к каждому слову начинал прибавлять «хорошо»; более сильная степень опьянения выражалась в нем непременным желанием кого-нибудь «сконфузить», причем он обнаруживал необыкновенную изобретательность. Раз к нему ночью хотели забраться воры. Асклипиодот был навеселе и, отворив форточку, объяснил «злоумышленникам», что он и сам ничего не может найти у себя, а что они лучше сделают, если пойдут к попу Андронику, у

которого денег куры не клюют: воры действительно отправились к о. Андронику, а утром Асклипиодот пришел проведать своего друга и пространно объяснил, как он «сконфузил татей». Вообще о. Андроник и Асклипиодот были неразлучные друзья и являлись всегда вместе; самые интересные сцены происходили тогда, когда являлась Галактионовна, которая в совершенстве владела искусством поджаривать этих друзей на медленном огне. Обыкновенно она являлась к нам только в те моменты, когда у ней в запасе была какая-нибудь каверза против Андроника или Асклипиодота; завидев скромно входившую в комнату Галактионовну, Андроник обыкновенно ворчал:

— Опять несет эту ворону: видно, завтра ненастье будет. Вороны всегда к ненастью каркают.

Галактионовна делала вид, что ничего не слыхала, садится где-нибудь в уголок, закрывает рот рукой и каким-нибудь самым невинным вопросом или замечанием открывала свою убийственную атаку; Мухоедов по опыту знает, что Галактионовна пришла неспро-

ста, и всеми силами старается навести ее на суть дела.

— У вас, отец Андроник, говорят, лошадка-то в шарфе ходит? — начинала Галактионовна, улыбаясь своей детской улыбкой в руку.

— А ты, скрипка, заведи свою да хоть штаны на нее надевай, — пробует огрызаться о. Андроник, выкатывая глаза.

— Нет, я так спросила: значит, чтобы не простудилась? А я как-то иду по улице, ваш работник и едет на вашей лошадке; смотрю, точно совсем другая лошадь стала... Какие-то рабочие идут мимо и говорят: «Вот попово-то прясло едет, ему лошадь-то заместо куриного седала отвечает, цыплят на нее садит... Медведь, говорят, давно прошение об ней губернатору подал».

— Хорошо... Ты говоришь, что лошадь отца Андроника в шарфе ходит, — вступался Асклипиодот с искренним желанием пренепременно сконфузить ядовитую бабу. — Хорошо... А в писании что сказано: блажен, иже и скоты милует...

— Отлично, братчик! — одобрял о. Анд-

роник своего заступника. — Что, взяла, скрипка... а?..

Галактионовна хихикает в руку, а потом опять начнет своим тихим голосом:

— Какой народ нечистосердечной в Пеньковке живет... На паске, рассказывают, что отец Андроник приехал с Асклипиодотом к Фильке с крестом...

— К какому Фильке?

— К лесообъездчику Фильке... Ну, которого Гаврило Степаныч на прошлой неделе с бревном поймал... Вот он самый. У Асклипиодота в одном кармане была бутылка с водкой, а в другом бутылка со святой водой; когда стали ко кресту-то подходить, Асклипиодот и ошибился в бутылках, а отец Андроник кропилкой в водку да водкой и давай кропить.

— Хорошо... А ты была у меня в кармане? — спрашивал Асклипиодот, задетый за живое.

— Я-то не была, а Филька сказывает, что вместо святой воды отец Андроник водкой его кропил.

— Может быть, а врет! — отрезывал о. Андроник.

Галактионовна не возражает на это львиное рыкание, а только рассыплется мелким, как бисер, смехом, с каким-то детским всхлипываньем.

Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы хины зубы болят или что-нибудь в этом роде; однажды о. Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай; о. Андроник и Асклипиодот были слегка навеселе, на первом взводе; Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя уронила фразу:

— Фатевна очень умной женщиной оказала себя...

— Что-то не слыхать, — иронизировал о. Андроник.

— А я так своими глазами видела...

— Н-но-о?

— Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?

— Продал, а тебе какое горе?

— Да так, к слову пришлось... Она вам пятьдесят рублей заплатила за лошадку-то?

— Ну, положим, что пятьдесят.

— Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу доктур к нам на двор идет, а больных никого нет... Вышла я на крылечко, увидал меня: «Ты, говорит, все еще жива?» А я ему: «Вашими, мол, молитвами, как шестами, подпираемся; скрипим помаленьку...» — «Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну, а доктур давай у ней вашу лошадку торговать, понравилась, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по Пеньковке гоняет. То-се, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктуру, под брюхо пролезла раз пять, значит, смирная совсем лошадь, а потом вскочила на лошадь верхом да без седла и давай по двору гонять, как цыган. У доктура так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться: доктур сто рубликов и заплатил Фатевне.

— Вре-ешь?!

— Чего мне врать: на свои глаза свидетелей не надо. При мне доктур вынял толстый-претолстый бумажник и отдал Фатевне четыре четвертных бумажки. После пришел доктуров кучер, увел лошадь, а доктурова же-

на захотела попробовать лошадку... Сели оба доктура в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону, через канаву — и понесла, и понесла. Оглобли изломала, дрожки изломала, а доктура лежат в канаве и кричат караул.

— Ах она, шельма?!. — рычал о. Андроник.

— Да еще что, отец Андроник, — продолжала Галактионовна, — после сама же Фатевна и смеется: «Как, говорит, просты, ах, как просты образованные-то люди... Только, говорит, жалованье они действительно большое получают, а настоящего ума в них нет: необразованной, говорит, бабе выбросили пятьдесят рублей, а мне на голодные-то зубы и ладно. Особенно, говорит, жаль мне попа Андроника, деньги, говорит, он любит, а лошадь не умеет продать!..»

— Ах она, шельма! — кричал о. Андроник, бегая по комнате. — Да ведь это дневной грабеж... Пятьдесят рублей?! Ах, шельма... Ведь пятьдесят-то рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!

— Простота-то, говорят, хуже воровства, отец Андроник! — язвила Галактионовна.

Выходя от нас, о. Андроник во дворе встретился лицом к лицу с Фатевной; эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и ругани, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно:

— А ты, поп, не храпай... Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой.

— А, не храпай... не храпай! — горячился о. Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. — Не храпай... Я бы подвязал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?

— Грешны, да божьи, — бойко огрызалась Фатевна; у ней так и чесался язык отчистить попа на все корки.

Асклипиодот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил подобру-поздорову спрятаться за широкую спину о. Андроника, Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне

«ржали девисы», и друзьям ничего не оставалось, как только отступить в положении того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести.

Впрочем, к чести наших героев, нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с о. Андроником; это замечательное событие произошло на именинах Мухоедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувствовался и даже облобызал свою духовную дщерь и совсем дружелюбно проговорил ей:

— Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь... Нет, не сержусь!..

— И я, дева, не сержусь, — говорила Фатевна, закатывая глаза.

Под веселую руку о. Андроник называл Фатевну «братчиком», а она, в свою очередь, называла его «девой», впрочем, без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности.

На именинах Мухоедова собрались почти

все заводские служащие, кроме Слава-богу, докторов и о. Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам; в числе гостей был Ястребок и «сестры». Гаврило Степаныч не был, потому что переехал уже на Половинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло, все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб, но, как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело, развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение о. Андроника с Фатевной, приветствуемое общим одобрением. «Сестры» присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку; Асклипиодот, успевший порядком клюнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл «актрисой» и на которой с замечательным искусством откалывал «барыню» и «камаринского». Пение «сестер», пиликанье Асклипиодота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозмож-

но передать словами; общее одушевление публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все: сельский учитель плясал с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и т. д. Асклипиодот усердствовал и показывал на своей «актрисе» чудеса искусства, такие пиччикато и стаккато, от которых даже сам о. Андроник только крякхтел, очевидно негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими вприсядку; когда посторонней публики поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна; она с неподражаемым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела о. Андроника в какое-то исступление, он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места:

— Чище, чище, чище!.. Чище, шельма! Чище, каналья!.. О-го-го!!.

Галактионовна принуждена была дернуть

о. Андроника за рукав рясы, чтобы умерить его шумный восторг; когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота; он вообще плясал русскую отлично, а когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества дочери и снова пустилась в пляс, но на этот раз ноги уже плохо, слушались ее, и она несколько раз теряла такт.

— Настоящая Иродиада, пляшущая пред Иродом, — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и о. Андроника.

— Хорошо... Фатевна пляшет отлично... Хорошо! — заявлял заплетавшимся языком Асклипиодот. — Хорошо... А я могу ее сконфузить!..

— Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня! — кричала Фатевна. — Ты посмотри на

меня, дева, какая я женщина, ведь я, дева, как верба...

— Хорошо!.. могу сконфузить, — продолжал утверждать Асклипиодот.

Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился вприсядку; плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно: уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг.

— Сконфузил, братчик, совсем сконфузил! — провозгласил о. Андроник. — Ну-ка, Фатевна, валяй колесом... О-ха-ха-ха!!.

На именинах Мухоедова я познакомился с «сестрами», и в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал «заглянуть в его избушку»; мне очень хотелось посмотреть, как жили «сестры» у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны; это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, с зелеными

ставнями, крепкими воротами и темным громадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины — переднюю и заднюю; в передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином, в задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет тридцати пяти, среднего роста, с бойким плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой; это был разбитной заводский человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью старшего брата: высокий, худой, с угрюмым лицом, он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты; у Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как-то особенно уютно, каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее исконное русское довольство, как, быть может, жили богатые мужики еще при

Аскольде и Дире, при Гостомысле, за великими московскими князьями: количество потребностей оставалось то же самое, как ими владел и самый бедный мужик, вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты — «сестры» ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винта все подавляло высоким достоинством своего качества; любители заморского удивляются чистоте немецких домиков, но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников — не знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, а не удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда, но зато уж если сделано крыльцо, так это именно крыльцо, которое простоит сто лет, и ни одна половица не покосится; если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что

только можно выкрасить: и красиво с известной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом: глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливые движения, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека, она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана: налево от дверей широкая русская печь, над самыми дверями навешаны широкие полати, около стен широкие лавки, в переднем углу небольшой стол, и только. Стены были выструганы гладко, и, вероятно, их часто мыли с песком; лавки и полати были выкрашены синей краской, пол желтой охрой; в переднем углу висело несколько потемневших образов и медный складень с засохшей вербой за ним.

— Милости просим, гости дорогие, — говорил Прохор Пантелеич, усаживая за стол.

— А тебе, Прохор Пантелеич, стыдно жить в такой избе, — говорил Мухоедов, — ведь денег у тебя куры не клюют... Вот взял да и построил двухэтажный каменный дом, как в городах у купцов.

— В городах-то, Капинет Петрович, пословица говорится, толсто звонят, да тонко живут, — отвечал старик с умной улыбкой, — где нам за ними гоняться.

— Куда ты с деньгами-то?

— С деньгами... Деньгам место найдется. Кому их надо, так не брезгуют и моей избушкой; из больших-то домов приходят тоже и в мою избушку.

Две молодых бабенки, одетых совершенно одинаково, как две сестры, в простенькие ситцевые сарафаны и в розовые платочки, подали самовар, чайную посуду и кренделей; они держали себя чрезвычайно скромно и, подходя к столу, опускали глаза. Они искоса взглядывали на свекра и, как собаки, ловили каждое его движение; заметно было, что Прохор Пантелеич держал снох в ежовых рукавицах

и не давал им воли. Филька и Константин скоро пришли в избу и почтительно поместились на дальнем конце лавки; Прохор Пантелеич не предложил им ни чаю, ни водки. Не успели мы выпить по стакану, как пришел Авдей Михайлыч, снял свои кожаные перчатки, поставил в угол правило, помолился и, поздоровавшись со всеми, присел к нашему столу.

— Ну что, Авдей Михайлыч, как дела? — спрашивал Мухоедов.

— Что, Капинет Петрович, — заговорил Авдей Михайлыч, — наши дела, как сажа бела... Вот Гаврило Степаныч обезживотил нас; а только напрасно он нас обижает.

— Чем это?

— А заведенья отнял...

— Да ведь это не его дело, а дело общества.

— Опчество... Какое у нас опчество! — угрюмо заговорил Авдей Михайлыч. — Наше опчество, одно слово, бараны, и конец... Своей пользы ежели не понимают.

— Мне одно невдомек, — заговорил Прохор Пантелеич, — какая корысть Гавриле Степанычу?.. Отнял у нас кабаки и передал Чубаро-

ву. Ежели бы он за себя их перевел...

— Вот то-то и есть, — объяснял Мухоедов, — ежели бы он их у вас отнял, так не отдал бы другому.

— Ну, это ты пустое говоришь! — отрезал Авдей Михайлыч. — Ежели бы насчет благодарности... да разе мы бы постояли?.. Так ведь Гаврило-то Степаныч такую тебе благодарность задаст...

— У меня Коскентин в лесообъездчиках служил, — говорил Прохор Пантелеич, — а я его в кабак посадил... Вот он теперь на бобах и остался.

— А ты обратись к Гавриле Степанычу, он место Константину даст, — объяснял Мухоедов. — Лошадей у тебя до десяти есть, подряды будешь брать...

— Да это все так, Капинет Петрович, без хлеба, слава богу, еще не сиживали, только расскажите мне: Гавриле-то Степанычу какая корысть была кабаки у нас отнимать? Ведь мы ему не мешали...

— Народ ноне малодушен больно стал в Пеньковке, — проговорил Авдей Михайлыч, — прежде крепче жили... Заработки

большие, едят сладко, чай этот пошел — вот народ и портится Посмотришь, молодые парнишки что делают: еще на рыле материно молоко не обсохло, а он водку хлещет... Или тоже вот наши заводские девки: больно много воли забрали, балуются, а котора послабее — и совсем потеряет себя.

Когда мы выходили от Прохора Пантелеича, во дворе какая-то молодая женщина с двумя детьми бросилась в ноги хозяину и громко запричитала:

— Батюшка... Прохор Пантелеич... второй день без хлеба ребятишки сидят!

— Ладно, ладно... дай проводить гостей-то, чего ревешь! — внушительно проговорил Прохор Пантелеич и равнодушно прибавил: — Степана Ватрушкина хозяйка... Третий день шляется, все лошадь продает, а мне куда с ней, с лошадью-то: возьми ее да и трави сено. Скотина, как пила, день и ночь пилит...

Мы вышли. Мухоедов молчал всю дорогу и, только когда мы подходили к дому, проговорил:

— Собственно говоря, «сестры» отличные мужики, если взять их самих по себе, безотно-

сительно.

— Крепко живут.

— И в заводе свое дело тонко знает, любо смотреть, а вот поди ты, деньги губят... Уж, видно, так устроен русский человек, что каждый лишний рубль на какую-нибудь пакость подталкивает. Видел жену Ватрушкина? В ногах третий день бабенка валяется, чтобы за бесценок взяли у ней лошадь... Что будешь делать! Поломаются «сестры» и возьмут, да еще в благодетели запишутся... Это черт знает, что такое!.. Помнишь, я тебе про механику-то говорил, какую мы с Гаврилой под «сестер» подвели, — это и есть те кабаки, о которых сегодня говорили. Не бей мужика дубьем, а бей рублем... Доняли мы «сестриц»! Авдей-то Михайлыч как притворяется: ничего, слышь, не понимаю, а сам отлично знает, что Чубаров заплатил обществу за кабаки десять тысяч. Деньги, то есть половина на школу пойдет, а другая на недоимки... Ведь отличную штуку Гаврило придумал? Не удалось «сестрам» слопать десять тысяч, вот и сердятся. Раньше им общество кабаки сдавало за здорово живешь...

V

Мне пришлось за некоторыми объяснениями обратиться к самому Слава-богу, который принял меня очень вежливо, но, несмотря на самое искреннее желание быть мне полезным, ничего не мог мне объяснить по той простой причине, что сам ровно ничего не знал; сам по себе Слава-богу был совсем пустой немец, по фамилии Муфель; он в своем фатерлянде пропал бы, вероятно, с голоду, а в России, в которую явился, по собственному признанию, зная только одно русское слово «швин», в России этот нищий духом ухитрился ухватить большой кус, хотя и сделал это из-за какой-то широкой немецкой спины, женившись на какой-то дальней родственнице какого-то значительного немца. Сделавшись управителем Пеньковского завода, Муфель быстро освоился на новой почве и в совершенстве овладел целым лексиконом отборнейших российских ругательств, но говорить по-русски не мог выучиться и говорил: «кланяйтесь из менэ», «благодарим к вам», «я буду приходить по вас», «сигун» вместо чугун и

т. д., словом, это была совсем старая история, известная всякому. Муфель представил меня своей жене, очень молодой белокурой даме; эта бесцветная немочка вечно страдала зубной болью, и мимо нее, как говорил Мухоедов, стоило только пройти мужчине, чтобы она на другой же день почувствовала себя беременной; почтенная и немного чопорная и опрятная, как кошка, старушка, которую я видел каждый день гулявшей по плотине, оказалась мамашей Муфеля. В уютном, отлично меблированном управительском доме мне пришлось встретиться с о. Егором и молодыми врачами; о. Егор держал себя совсем comme il faut,[8] скромно и с достоинством, и даже не без ловкости умел сказать несколько комплиментов дамам. Доктор и «докторица», фамилия которых была Торчиковы, произвели на меня неопределенное впечатление; говорили они только о серьезных материях и очень внимательно слушали один другого; доктор небольшого роста, сутуловатый и очень плотный господин, держал себя с меньшей развязностью, чем о. Егор, смущался своими руками и любил смотреть в угол, но в его

некрасивом лице, с небольшими серыми, часто мигавшими глазками и каким-то вопросительно-встревоженным выражением просвечивало что-то хорошее и немного упрямое. Жена доктора, совсем маленькая и очень бойкая дама, с маленьким, правильным капризным лицом, держала себя неприступно и строго и, кажется, всего больше заботилась о том, чтобы сказать что-нибудь остроумное или по крайней мере умное; это новое явление нашей жизни мне понравилось меньше, чем сам доктор, особенно когда я мысленно сравнил с ней простую и симпатичную Александру Васильевну.

Муфель, большой скандалист и еще больший кутила, держал себя дома как добрый семьянин и самый радушный хозяин, который не знал, чем нас угостить; между прочим, он показал нам свою великолепную оранжерею, где росли даже ананасы, но главным образом он налег на вина и отличный обед, где каждое блюдо было некоторым образом chef-d'oevre'ом кулинарного искусства.

Взглядывая на эту взъерошенную, красную от выпитого пива фигуру Муфеля, одетого в

охотничью куртку, цветной галстук, серые штаны и высокие охотничьи сапоги, я думал о Мухоедове, который никак не мог перелезть через этого ненавистного ему немца и отсиживался от него шесть лет в черном теле; чем больше пил Муфель, хвастовство и нахальство росло в нем, и он кончил тем, что велел привести трех своих маленьких сыновей, одетых тоже в серые куртки и короткие штаны, и, указывая на них, проговорил:

— Вот, шерт возьми, будущая Россия…

Отец Егор приласкал детей и не без ловкости уронил какой-то комплимент, относившийся к счастливым родителям «будущей России»; мать Муфеля говорила по-русски лучше сына и за обедом, между прочим, сильно жаловалась на о. Андроника.

— Представьте себе, — говорила старушка, высоко поднимая свои седые брови, — я член Красного Креста, раз захожу с кружкой к этому ужасному попу… На крыльце меня встречает пьяный дьячок, вхожу в комнату, и представьте — этот Андроник сидит на диване в одном жилете и играет на гитаре. Мне сделалось дурно, и я плохо помню, как выбралась

на улицу... Согласитесь, что это ужасно, ужасно!!.

— Подобные люди бросают тень на целое сословие, — немного вычурно заговорил о. Егор, ежась на своем месте и заглядывая в глаза жаловавшейся старушке. — По моему мнению, это зависит от недостатка образования, Амалия Карловна... В Германии, вероятно, вы не встретите таких священников? Да, печальное явление, очень печальное, но, можно надеяться, русское духовенство скоро совсем избавится от него.

— А мне, отец Егор, отец Андроник очень нравится, — отозвалась докторша, вскидывая на нос pincenez. — В нем есть какая-то хорошая простота и чисто русское остроумие.

— Относительно простоты и остроумия отца Андроника я совершенно согласен с вами, — мягко соглашался о. Егор, наливая себе стакан воды. — Но согласитесь, известная специальность, вернее, профессия, налагает на каждого человека известные обязанности и приличия, тем более сан священника... Вот вы врач, а что бы вы сказали о другом враче-женщине, которая явилась бы к своему па-

циенту не в своем виде, что с отцом Андроником случается нередко. Я не осуждаю старика и знаю, что ему немного поздно ломать свою натуру, но все-таки согласитесь...

Когда мы вышли из-за стола, я спросил докторшу об участи раздавленного Ватрушкина; женщина-врач точно обрадовалась моему вопросу и с торопливой улыбкой проговорила:

— Ему лучше... Он скоро поправится.

— Неужели?

— О, да... — самоуверенно проговорила маленькая женщина. — Ампутация обошлась самым счастливым образом, и бедняк так благодарил меня, даже руки мне целовал и все называл хорошей барышней.

— Значит, вы...

— Вы хотите сказать, как я решилась отнять ногу? — предупредила меня докторша, машинально поправляя одной рукой какую-то складку на своем изящном сером платье. — Моя специальность — хирургия, и я уже сделала несколько удачных операций... Мои пациенты единогласно подтверждают, что у меня легкая рука, — с улыбкой прибави-

ла она.

Я внимательно посмотрел на маленькую женщину, почти девушку, на ее небольшие желтые руки, и в душе подивился ее смелости; мне на память пришел случай, когда однажды я должен был вынуть большую занозу из ноги одного шалуна, и как эта мудреная операция бросила меня в холодный пот, и я готов был бежать, чтобы избавиться только от своей трудной роли; докторша, кажется, угадала истинный ход моих мыслей и с прежней улыбкой проговорила:

— Ведь тут и мудреного ничего нет... Издали оно кажется гораздо страшнее, чем на самом деле; а затем является привычка.

— Так она плох? — спрашивал Муфель доктора, провожая нас в переднюю.

— Да, очень плох.

— Никакой надежды?

— Надежда есть, но очень сомнительная, — уклончиво отвечал доктор, поворачивая в руках шляпу.

— Шаль, очэнь шаль... Какая хорош человек!..

— Это вы о Гавриле Степаныче? — вмеша-

лась докторша и, получив утвердительный ответ, прибавила: — А по-моему, он поправится, в нем слишком много энергии... В такого сорта болезнях хороший характер прежде всего.

Гаврило Степаныч не был на именинах Мухоедова, потому что к этому времени уже переехал на Половинку; в одно из ближайших воскресений мы с Мухоедовым взяли лошадь у Фатевны и отправились проведать нашего друга. До Половинки было верст двадцать. Мы выехали рано утром, до «солновсхода»; накануне был небольшой дождь, и трава зеленела особенно ярко, точно она умылась; когда солнце поднялось выше и начало подбирать росу, наша тюменская телега бойко катилась мимо красивых покосов, пестревших незавидными цветочками. Кой-где виднелись небольшие избушки, в которых жили рабочие во время страды; попалось несколько обугленных мест с остатками обгорелых пней и сучков; особенно хороши были березовые пролески, светлые, как транспарант, прохладные и шелестевшие каждым листочком. По небу весело бежали далекие облачка;

солнце точно смеялось и все кругом топило своим животворящим светом, заставлявшим подниматься кверху каждую былинку; Мухоедов целую дорогу был необыкновенно весел: пел, рассказывал анекдоты, в лицах изображал Муфеля, «сестер», Фатевну — словом, дурачился, как школьник, убежавший из школы.

Наслаждение летним днем, солнечным светом омрачалось мыслью о бедном Гавриле Степаныче, которому, по словам доктора, оставалось недолго жить; среди этого моря зелени, волн тепла и света, ароматного запаха травы и цветов мысль о смерти являлась таким же грубым диссонансом, как зимний снег; какое-то внутреннее человеческое чувство горячо протестовало против этого позорного уничтожения. Я ничего не говорил Мухоедову об опасном положении Гаврилы Степаныча, раз, потому что не хотел огорчать прежде времени этого доброго человека, а второе, — я боялся, что он не сумеет себя держать и выдаст себя и меня Гаврилу Степанычу головой; больные вообще обладают большей проницательностью, чем здоровые, и от-

лично умеют читать по физиономиям своих друзей.

— Кажется, тысячу лет прожил бы! — говорил Мухоедов, когда наша телега, миновав покосы, покатилась, как по длинному узкому коридору, среди смешанного леса из сосен, елей и берез, где нас обдало приятной прохладой и чудным смолистым запахом. — Право, много ли нужно человеку: вот этакий день — и счастлив, как птица. По моему мнению, нет другого животного, которое так умело бы пользоваться жизнью, как птица; это моя собственная философия, которая иногда утешает меня, если уж придется круто. Я стараюсь походить на птицу... Стряхнешь с себя все эти предрассудки, которыми опутывает нас жизнь, и, право, так делается весело, точно вчера родился и не видал еще ни одного паршивого немца...

В этих разговорах и самой беззаботной болтовне мы незаметно подъехали к Половинке, которая представляла из себя такую картину: на берегу небольшой речки, наполовину в лесу, стояла довольно просторная русская изба, и только, никакого другого жилья,

даже не было служб, которые были заменены просто широким навесом, устроенным между четырьмя массивными елями; под навесом издали виднелась рыжая лошадь, лежавшая корова и коза, которые спасались в тени от наступавшего жара и овода. Половинка была когда-то рудником; какой-то предприниматель зарыл здесь довольно крупный капитал, а затем, разорившись, все бросил; остатками бывшего рудника служили изба, в которой теперь жил Гаврило Степаныч, да несколько полузаросших травой и березняком валов перемытого песку, обвалившихся и затянутых сочной осокой канав, да еще остатки небольшого прудка и целый ряд глубоких шахт, походивших издали на могилы. Общий вид Половинки был очень хорош, хотя его главную прелесть и составлял лес, который со всех сторон, как рать великанов, окружал небольшое свободное пространство бывшего рудника и подступал все ближе и ближе к одинокой избе; главное достоинство этого леса заключалось в том, что это был не сплошной ельник, а смешанный лес, где развесистые березы, рябина и черемуха мешались с елями и соснами, при-

ятно для глаза смягчая своей светлой веселой зеленью траурный характер хвойного леса.

Пред избой был разбит небольшой цветник, а за ним виднелось несколько гряд только что вскопанного огорода.

— Эй, хозяева, принимайте гостей! — громко кричал Мухоедов, привязывая лошадь под навесом, но из избы никто не откликался, и Мухоедов решил: — Спят, видно, наши господа... Эк их взяло! Нашли время.

Я с удовольствием взошел на широкое русское крыльцо, где было прохладно и солнце не резало глаз своим ослепительным блеском, а расстилавшаяся пред глазами картина небольшой речки, оставленного рудника и густого леса казалась отсюда еще лучше; над крышей избушки перекликались какие-то безыменные птички, со стороны леса тянуло прохладной пахучей струей смолистого воздуха — словом, не вышел бы из этого мирного уголка, заброшенного в глубь сибирского леса. Дальше Половинки не было и дороги, а начиналась знаменитая сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана. Небольшой стол помещался в углу крыльца; на нем

лежала позабытая женская работа — несколько полос полотна, катушка с нитками и маленькие стальные ножницы; вместо стульев служили небольшие скамьи, сделанные прямо из сырого дерева с неправильно обтесанными досками.

— Что, братику, хорошо здесь? — говорил Мухоедов, входя на крыльцо и утирая лицо платком.

— Да, недурно.

— Чистое, братику, состояние первых человеков. А где же, однако, мы хозяев добывать будем? Вот работишка Александры Васильевны, значит, они дома...

Мухоедов попробовал низенькую дверь, которая с крыльца вела в темные сени, — она оказалась незапертой; походив по сеням и несколько раз окликнув хозяев, Мухоедов вошел сначала в переднюю избу, а потом в заднюю — везде было пусто, и Мухоедов решил, что хозяева, вероятно, ушли в лес.

— Ну, это не совсем вежливо с их стороны, — ворчал мой приятель, появляясь на пороге с самоваром, — я до смерти хочу пить, живым манером запалю сию машину, а ты

подожди. Если хочешь, ступай в избу: церемоний не полагается.

Мухоедов, захватив на пути железный ковш, отправился с самоваром на берег речки, где налил его водой, и действительно «запалил», так что из «машины» густой дым повалил густыми клубами; развалившись на траве, Мухоедов с ожесточением раздувал самовар, время от времени поворачивая ко мне раскрасневшееся счастливое лицо. Я тем временем успел рассмотреть переднюю избу, которая была убрана с поразительной чистотой и как-то особенно уютно, как это умеют делать только одни женские руки; эта изба была гостиной и рабочим кабинетом, в ней стоял рояль и письменный стол, в углу устроено было несколько полок для книг; большая русская печь была замаскирована ситцевыми занавесками, а стены оклеены дешевенькими обоями с голубыми и розовыми цветочками по белому полю. Пол везде был сильно попорчен, даже было выбито несколько ям; небольшие окна, с только что вставленными новыми рамами, были отворены настежь, на подоконниках стояли горшки цветов, плющ мас-

кировал почерневшие косяки, а снаружи, по натянутым веревочкам, зеленой стеной подымался молодой хмель, забираясь отдельными корнями под самую крышу. Задняя комната представляла из себя одной половиной кухню, другой спальню; обе комнатки выходили окнами прямо в лес, который рос в двух шагах.

— Вот где хорошо... — подумал я вслух.

— Идиллия, братику, сущая идиллия! — отозвался Мухоедов, не без торжества появляясь на крыльце с кипевшим самоваром; он поставил его на стол, а затем откуда-то из глубины кухни натащил чайной посуды, хлеба и даже ухитрился слазить в какую-то яму за молоком. — Соловья баснями не кормят, а голод-то не тетка... Пока они там разгуливают, мы успеем заморить червячка.

Распахнув свою поддевку и сняв шляпу, Мухоедов с особенным торжеством приступил к церемонии чаепития; он болтал без умолку, пот крупными каплями катился по его высокому лбу, он его вытирал мимоходом рукавом поддевки и снова наклонял свое лицо над блюдечком, которое держал на паль-

цах по-купечески. Чем больше я узнавал Мухоедова, тем больше начинал любить эту простую, глубоко честную душу; но, живя в Пеньковке уже вторую неделю, я начинал убеждаться все сильней в том, что Мухоедов был совсем бесхарактерный человек в некоторых отношениях, особенно если вблизи не было около него какой-нибудь сильной руки, которая время от времени поддерживала бы его и не позволяла зарываться. Такие люди незаменимы, как кабинетные ученые, но в практической жизни они безвозвратно тонут в волнах житейского моря, если счастливая случайность не привяжет их к какому-нибудь хорошему делу или хорошему человеку; по отношению к Мухоедову во мне боролись два противоположных чувства — я любил его и по воспоминаниям молодости, и как простую честную душу, а с другой стороны, мне делалось больно и обидно за него, когда я раздумывал на тему о его характере. И теперь, глядя на его счастливое молодое лицо, я находился под влиянием этого двойного чувства, мне хотелось высказать ему мучившие меня сомнения, и вместе с тем я совсем не желал

портить его счастливого «птичьего» настроения.

— А вот и наши Филемон и Бавкида бредут, — заговорил Мухоедов, когда на опушке леса показалась сначала стройная фигура Александры Васильевны, а за ней длинная, слегка сгорбленная «остеология» Гаврилы Степаныча, как его называл Мухоедов; издали он сильно походил на журавля и как-то забавно шагал по густой траве, вытягивая вперед длинную шею и высоко поднимая ноги, точно он шел по воде. — А мы тут без вас чайком балуемся, — заявлял Мухоедов, здороваясь с Александрой Васильевной. — Вы, голубчик, совсем поправились здесь, вон и румянец, и цвет лица в некотором роде... Хе-хе!..

— А как вы находите Гаврилу Степаныча? — обратилась ко мне Александра Васильевна. — Не правда ли, ведь он заметно поправляется... на глазах.

— Ну, Саша, уж и заметно, — с улыбкой протестовал Гаврило Степаныч, опускаясь с заметным усилием на скамью. — Конечно, я чувствую себя бодрее и к осени отлично поправлюсь, но нельзя же вдруг, разом...

— Все-таки и доктор тоже нашел тебя лучше, когда был в последний раз.

— Доктор?.. Ах да, доктор; доктор — очень хороший человек, очень... — Гаврило Степаныч не договорил и страшно закашлял; на шее и на лбу выступили толстые жилы, лицо покрылось яркой краской. — Я ведь живуч... только вот не могу еще долго ходить по лесу, утомляюсь скоро и голова кружится от чистого воздуха... не могу к воздуху-то привыкнуть.

— Тебе только не следует волноваться, — говорила Александра Васильевна, снимая шляпу и поправляя спутавшиеся на лбу пряди белокурых, мягких, как шелк, волос. — Не будешь волноваться и поправишься...

— Да, да, именно так: нужно жить, Гаврило, как птицы живут, — подтвердил Мухоедов и довольно подробно принялся развивать свою оригинальную философию равновесия элементов. — Я давно тебе это твержу: живи, яко птица, и кончено!..

— Милый человек, советы гораздо лучше давать, чем исполнить их, — в раздумье проговорил Гаврило Степаныч. — Вон Слава-богу советовал Ватрушкину сделать усилие, тоже

недурно сказано.

— Ах, остеология, остеология! С кем ты сравнил меня? — возмущался Мухоедов, наливая всем стаканы. — А тебе, остеология, налить стаканчик?

— Нет, спасибо... доктор посадил меня на молочко.

— А ты его не слушай: за компанию жид удавился!

Мы отлично провели этот день, ходили в лес, несколько раз принимались пить чай, а вечером, когда солнце стояло багровым шаром над самым лесом, старик-караульщик, который один жил на Половинке в качестве прислуги, заменяя кучера, горничную и повара, развел на берегу речки громадный костер; мы долго сидели около огня, болтая о разных разностях и любуясь душистой летней ночью, которая в лесу была особенно хороша. Мириады звезд фосфорическими искрами усеяли голубое небо; лес молчал, от деревьев тянулись по траве длинные тени; где-то глухо и печально куковала кукушка.

— Вы не боитесь здесь жить? — спрашивал я Александру Васильевну, кутавшуюся в теп-

лую шаль.

— Нет... Мы ведь не одни: с нами живет Евстигней; мы даже ничего не затворяем здесь.

— Да ваш Евстигней спит, как сурок, — вмешался Мухоедов. — Его с головой завяжи в мешок, он и того не услышит.

— А вот и нет, Капинет Петрович, — отозвался Евстигней, очень ветхий старик, с каким-то восковым, точно выцветшим лицом. — Я в карауле на фабрике тридцать пять лет выслужил, волоса не прокараулил...

— А ты расскажи лучше, как ты самовар приказчику ставил? — заговорил Мухоедов.

— Чего самовар? Разве его мудрено настаивать...

— Нет, ты по порядку-то расскажи, как дело было.

Евстигней оправил небольшую бородку клином и заговорил неопределенным, тоже как будто выцветшим голосом, точно это говорил не он, а кто-нибудь другой, спрятавшийся за его спиной:

— Это было годов с сорок, когда мы за барином жили. Меня определили на рудник; приехал приказчик и заставил меня самовар

наставить... А тогда этого заведенья, почитай, совсем не было, чтобы самовары пить. Теперь в Пеньковке много самоваров, а тогда и званья не было. Я ходил-ходил около самовару-то, и не знаю, что с ним сделать, а ставить надо, потому приказчик придет с руднику, спросит. Открыл крышку, вижу — в одном месте вода, в другом уголь, сейчас долил и углей свежих прибавил. Сам сел и караулю, а как приказчик пришел с рудника, я и подал самовар. Только приказчик заварил чай, налил стакан, а как попробовал, так и выплюнул... Сейчас за мной: «Сказывай, чего наклал в самовар?» Испужался я до смерти, а все-таки говорю, что ничего не клал. «Врешь, кричит приказчик, ты, говорит, меня отравить хочешь... Давай, пей сам!» Посадил меня за стол, налил мне стакан и заставил его весь выпить; не поглянулся мне этот чай его, а делать нечего, пью, потому не своя воля. «Ну, что, говорит приказчик, скусно?» — «Скусно», — говорю. «А зачем, говорит, вода в самоваре соленая?» — «Я, говорю, посолил, потому хотел угодить вам...» Смотрел-смотрел на самовар, как он кипит, а сам думаю: «Надо посолить;

пожалуй, приказчик ругать будет, если не посолю». Ну и посолил, потому у нас бабы каждое варево солят.

Старик заключил свой рассказ самой добродушной улыбкой и, поплевав на руки, бросил несколько полен в огонь; мы посмеялись над его рассказом и отправились в комнаты, потому что падала роса и Гаврилу Степанычу было вредно оставаться на мокрой траве. Александра Васильевна сыграла несколько любимых пьес на рояле, но Гаврило Степаныч слушал их, печально опустив голову, потому что доктор строго-настрого запретил ему петь; меня удивило, что Гаврило Степаныч не заводил совсем речи ни о «сестрах», ни о ссудо-сберегательном товариществе, но это объяснилось опять запрещением доктора.

— А вы, право, погостили бы у нас? — говорил мне Гаврило Степаныч, когда мы прощались вечером. — Мухоедов пусть едет, а вам в Пеньковке или здесь просматривать бумаги все равно... Право, оставайтесь? Мы вам отдадим переднюю избу, и живите себе: Епинет Петрович будет навещать нас, и заживем отлично. Мы с Сашей люди простые, не поме-

шаем вам.

— В самом деле оставайся, какого тебе рожна делать в Пеньковке?! — уговаривал меня Мухоедов, перебрасываясь с Александрой Васильевной каким-то телеграфическим знаком. — Я ведь завтра рано укачу отсюда, потому к шести часам утра нужно быть в заводе, а ты спи себе, как младенец, я и бумаги тебе все вышлю, считайте здесь с Гаврилой свою статистику.

Когда мы остались одни, Мухоедов, раздеваясь, говорил мне:

— Нет, ты в самом деле оставайся здесь, спасибо скажешь. Малина — не житье, да и Гавриле веселее, а то он с одной скуки помереть может; человек привык работать за троих, а тут и думать ничего не смей, занимайся обменом веществ. Ты его раскопай-ко, Гаврилу-то, он ведь хоть сейчас в министры, и все тебе как на ладони покажет; только здоровьишко его подлое совсем, а то рубаха-парень. Мне давеча и Александра Васильевна шепнула, чтобы я уговаривал тебя; тебе ведь все равно, а Гавриле веселее, когда живой человек под боком.

Рано утром, когда я спал, Мухоедов уехал в Пеньковку один; я проснулся очень поздно и долго не мог сообразить, где я лежу. Солнечные лучи яркими пятнами играли на задней стене; окна были открыты; легкий ветерок врывался в них, шелестел в листьях плюща и доносил до меня веселый говор леса, в котором время от времени раздавались удары топора; я оделся и вышел на крыльцо, где уже кипел на столе самовар.

— Десять часов утра, — послышался мне голос Александры Васильевны, которая скоро показалась из кухни с красным лицом, одетая в ситцевую простенькую блузу.

— Я позабыл попросить Евстигнея, чтобы он разбудил меня, — пробовал я оправдаться, здороваясь с Александрой Васильевной.

— Значит, совесть немного-таки мучит вас?

— Да, проспать такое утро просто бессовестно. А Гаврило Степаныч, вероятно, гуляет?

— Да, он теперь в лесу, а я в кухне... Вы, я думаю, испугались меня?

— Нет, пока ничего, а только я вам должен

категорически заметить, что, если вы из-за меня хоть пять минут лишних пробудете в кухне, я сейчас же исчезаю. Согласны?

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы и без вас что-нибудь едим; женской прислуги я не взяла с собой, потому что люблю иногда поработать, как кухарка. Гаврило Степаныч ворчит на меня за это, но, видите ли, мне необходимо готовить самой обед, потому что только я знаю, что любит муж и как ему угодить, а полнейшее спокойствие для него теперь лучшее лекарство. — Переменив тон, она прибавила: — А пока он придет, вы, во-первых, сходите умыться прямо в речке, а потом я вас напою чаем; вот вам мыло и полотенце.

Защитив глаза от солнечного света, я с наслаждением брел прямо по густой траве к речке; как городской житель, я долго затруднялся выполнением такой замысловатой операции, как умывание прямо из речки, и только тогда достиг своей цели, когда после очень неудачных попыток догадался, наконец, положить около воды большой камень, опустился на него коленями и таким образом долго и с особенным наслаждением обливал

себе голову, шею и руки холодной водой, черпая ее сложенными пригоршнями. Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром; на столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье.

— Я нарочно послала вас умыться в речке, чтобы вы хоть раз в жизни испытали это удовольствие, — говорила мне Александра Васильевна, подавая стакан чаю.

Мы весело болтали все время чая; Александра Васильевна держала себя непринужденно и просто, как сестра, но по ее лицу я заметил, что она хотела что-то сказать мне и не решалась; я вывел ее из этого затруднения предложением не стесняться со мною.

— Мне хотелось поговорить с вами об Епинете Петровиче, — заговорила Александра Васильевна. — Вы учились вместе с ним?

— Да.

— Мы с мужем так его любим, он свой человек в нашем доме, но в нем есть одна странность, которая так всегда огорчает моего мужа...

— Бесхарактерность?

— Да, какое-то отсутствие воли; мне кажется, это зависит от его семейной обстановки... Это одиночество, бесконечная доброта... Ведь он такой умный и необыкновенно честный человек, поэтому как-то вдвойне обидно делается за него. Я буду откровенна с вами; Епинет Петрович живет у Фатевны... у ней, вы, вероятно, видели, есть дочь, Глаша, очень красивая и оригинальная девушка, но, к сожалению, совсем пустая и вдобавок очень легкомысленная... Я боюсь, что Епинет Петрович может увлечься ей, Фатевна способна на все, и может случиться так, что поправлять дело будет поздно. Мне, как женщине, неловко высказать ему это прямо в глаза, а вы, на правах друга, можете это сделать. Право, мне делается страшно от одной мысли, что такой отличный человек, как Епинет Петрович, может жениться на Глаше. Я не люблю говорить дурно о людях, особенно о молодых, из которых может выйти и добро и зло с одинаковой вероятностью, но есть такие натуры, которые неисправимы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я пристрастно смотрю на Глашу, но в каждом есть такие предубеждения против

некоторых людей, и они иногда оправдываются.

Я обещал Александре Васильевне сделать все, как она желает, и вместе с тем высказал ей, что, насколько мне удалось заметить, такой опасности пока не существует для Мухоедова, хотя поручиться за него в будущем и невозможно; я откровенно высказал ей, что бесхарактерность Мухоедова огорчает и меня, но что это такой недостаток, который не поддается никакому лечению, особенно в известном возрасте. Александра Васильевна внимательно выслушала меня, а потом в раздумье проговорила:

— А он такой славный... Все рабочие так любят его, хоть и называют Казинетом. А вот и муж с Евстигнеем возвращаются, — весело прибавила Александра Васильевна, кивнув головой в сторону леса, где виднелись две мужских фигуры.

Когда они были уже недалеко, Александра Васильевна проговорила с озабоченным лицом:

— У меня к вам есть еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не заводите этих разго-

воров, которые могут волновать мужа... Ваше присутствие здесь будет для него лучшим лекарством и без них; он так интересуется вашей работой и вчера долго толковал со мной, чем и как помочь вам.

Несколько недель, проведенных мною на Половинке в обществе Гаврилы Степаныча, Александры Васильевны, Евстигнея и изредка посещавшего нас Мухоедова, принадлежат к счастливейшему времени моей жизни, по крайней мере никогда мне не случалось проводить время с такой пользой и вместе с таким удовольствием; моя работа быстро подвигалась вперед, Гаврило Степаныч принимал в ней самое живое участие, помогал мне словом и делом и с лихорадочным нетерпением следил за прибывавшим числом исписанных листов, которые он имел ангельское терпение перечитывать по десять раз, делал замечания, помогал в вычислениях, так что в результате моя работа настолько же принадлежала мне, как и ему. К моему удивлению, Гаврило Степаныч порядочно знал политическую экономию, читал Адама Смита, Милля,

Маркса и постоянно жалел только о том, что, не зная новых языков, он не может пользоваться богатой европейской литературой по разным экономическим вопросам из первых рук, а не дожидаясь переводов на русский язык; в статистике Гаврило Степаныч был как у себя дома, читал Кетле и Кольба, а работы русского профессора Янсона он знал почти наизусть. Вообще трудно было сказать, чего только не знал и чего не читал Гаврило Степаныч, и, главное, все это делалось только в свободное время от его специальных занятий в заводе и делалось исключительно по своему собственному выбору, вне всяких посторонних влияний. Мне всего больше в Гавриле Степаныче нравилась необыкновенная энергия его мысли и какая-то восторженная любовь к знанию; здесь он являлся жрецом чистого искусства, и, по моему мнению, эта сила любви поддерживала его растительный организм лучше всяких лекарств. У него была своя очень порядочная библиотека, составленная очень удачно; кроме того, он выписывал «Вестник Европы» и «Отечественные записки», и каждая новая книжка журнала для

него была праздником.

В промежутки между работой мы делали длинные прогулки, большею частью вдвоем с Гаврилой Степанычем, потому что Александра Васильевна была завалена работой по хозяйству; мы отлично изучили местность верст на десять кругом и особенно облюбовали небольшой борок, гривой покрывавший холмистую возвышенность. Здесь мы отдыхали в жаркие летние дни, по целым часам лежа на мягкой траве и чутко прислушиваясь к вечному шепоту высоких столетних сосен; чтение и разговоры как-то особенно хорошо удавались в этом бору, и, как я ни старался, дело не обошлось без таких тем, которые волновали больного. Гаврило Степаныч понял мои усилия и однажды в минуту откровенности проговорил:

— Это вас Саша научила?

Мне оставалось только сознаться в заговоре; Гаврило Степаныч улыбнулся больной улыбкой и заговорил дрогнувшим голосом:

— Саша славная... Это ангел, а не человек. Вы не знаете ее хорошенько... Мы, мужчины, вообще очень дурно относимся к женщинам;

это историческая несправедливость и наш эгоизм, а между тем, подумайте, чем были бы мы, если бы около каждого из нас не было заботливой, любящей руки... Я молюсь на мою Сашу и, право, не знаю за ней ни одного недостатка; а сколько ей, бедняжке, приходится выносить из-за меня... Возиться с больным мужем, выносить его капризы, стоять над каждым его желанием ангелом-хранителем, — ведь это такая жертва, которая приносится каждый день и на которую не имеешь никакого права, а между тем я часто бываю несправедлив к ней, мучаю ее капризами, придираюсь к пустякам. После опомнишься и сделается так стыдно, что даже извиняться совестно... Да когда я и здоров был, разве я был бы тем, чем есть, если бы не Саша; она моей невестой лет восемь была, и как мы славно жили, как работали. Она была сельской учительницей, а я работал в заводе, учился и служил. Всеми своими знаниями, любовью к упорному, систематическому труду, выработкой характера — ведь всем я обязан моей Саше... И какая скромность в ней!.. Вот теперь хотим открывать ремесленную

школу, то есть это хочет ее открывать Саша, а мы с Мухоедовым только помогать ей будем. И ведь ни слова никому!.. Вот я, грешный человек, болтлив: и про хорошее скажу, и про дурное. Что поделаешь, уж такой характер, а Саша не то: крепкий человек...

Голос Гаврилы Степаныча дрожал, глаза блестели; он с трудом дышал и, переведя дух, продолжал с прежним одушевлением:

— Я думал заплатить ей счастливой и спокойной жизнью за все, а тут болезнь... А как она за мной ухаживает!.. Обед сама готовит и еще уверяет, что ей это нравится, а дело просто в том, что она не доверяет ни одной кухарке такого важного дела; доктор натолковал ей о важности питания, вот она и бьется, как рыба об лед... А как вы думаете, поправлюсь я или нет? — неожиданно спросил меня Гаврило Степаныч.

— Помилуйте, конечно поправитесь, — поспешил я ответить.

— Зачем вы так торопитесь высказать то, чему и сами не верите, — с легким упреком в голосе заговорил Гаврило Степаныч. — Доктор давно смотрит на меня такими глазами,

точно я уже препарат для его ножа; вы тоже сомнительно поглядываете на меня, только Саша да Мухоедов, как дети, слепо верят в мое выздоровление, и, представьте себе, они вернее отгадали то, чего наука еще не видит. Вы и доктор, например, смотрите на меня и думаете: «Куда ему поправиться, когда в нем места нет живого», а я вот возьму да и поправлюсь, поправлюсь именно потому, что во мне места нет живого. Да, это совершенно верно. Вы посмотрите на Евстигнея, в нем, кажется, двух капель крови нет, а живет себе, на восьмой десяток перевалило, зубы все целы, волосы недавно начали седеть и, наверное, доживет до ста лет. Дело просто: с молодости, когда организм формируется и растет каждой клеточкой, его силы надорвут непосильной работой, вытянут, а в сорок лет человек полный калека, как загнанная лошадь; тут человек уже неспособен на настоящий труд, а в состоянии сидеть только в карауле, как Евстигней, хоть сто лет. Вот вам наш портрет с Евстигнеем: он вытянулся на крепостном помещичьем труде, я тоже свою крепостную службу вынес, и, главное, в нас обоих остался такой малень-

кий запас сил, что для их поддержки требуется minimum тех условий, при которых может существовать живой человек. Поэтому моя болезнь, например, в два месяца скрутит какой угодно организм, а я скриплю с ней пятый год и не думаю умирать, а надеюсь скоро совсем поправиться. Да, это ясно как день, и я чувствую, что останусь жив, хотя иногда приходится очень жутко и выносишь страшную пытку, чтобы не выдать своих страданий Саше… Бедная без того скружилась со мной!

— Таких, как мы с Евстигнеем, вы найдете в Пеньковке сотни, — продолжал Гаврило Степаныч, — это все жертвы бывшего крепостного права или жертвы нынешней огненной работы… И представьте себе, как это ни странно, на заводах Кайгородова, в том числе и в Пеньковке, рабочим жилось в материальном отношении гораздо лучше за помещиком, чем теперь; причина заключается в том, что помещик как-никак, а все-таки кормил калек, стариков и сирот, а теперь они брошены на произвол судьбы… Выиграли только те рабочие, которые в полной силе; им действительно хорошо, и живут они отлично, но это

счастливое состояние продолжается пятнадцать — двадцать лет, человек израбатывается и поступает на содержание к детям, если они есть. Девки в счет нейдут при этом, а только парни, которые при больших заработках привыкают к известной роскоши, а затем к водке, так что положение заводского рабочего никак нельзя сравнить ни в материальном, ни в нравственном отношении с положением крестьянина.

Гаврило Степаныч очень подробно развивал каждый раз при таких разговорах план перехода от ссудо-сберегательного товарищества к обществу потребителей, а от него к производительным артелям, которые в далеком будущем должны окончательно вырвать заводского рабочего из рук «сестер», Фатевны и целой стаи подрядчиков, кулаков и прасолов; страховые артели на случай несчастья, сиротства, старости, увечья и прочих невзгод, среди которых проходит жизнь рабочего, должны были венчать это будущее здание. Профессиональные школы, музей прикладных знаний, публичные чтения, театр, библиотека — все это должно было явиться само

собой, как только установятся прочно начала экономического благосостояния рабочего.

— Нам не нужно революций, — прибавлял Гаврило Степаныч, — мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент на предметах первой необходимости, на пище и одежде; хотим обеспечить себе производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков; стремимся застраховать себя на случай несчастья и дать детям такое воспитание, которое вместе с ремеслом вселило бы в них любовь к знанию. У меня, знаете, давно в голове бродит некоторая идея... Потребительные, ссудо-сберегательные и производительные артели рабочие должны устроить сами, дело крупных предпринимателей только не мешать им, это все понятно и логично, а вот, что касается страховых артелей, — вот здесь, по-моему, уж дело заводчиков застраховать жизнь и здоровье работника. Ведь инвалиды-рабочие имеют на это полное право, потому что хозяйские машины ломают им руки и ноги. Хочу составить проект по этому вопросу...

Это счастливое, возбужденное настроение

часто переходило у Гаврилы Степаныча в минорный тон, он съеживался, смолкал и несколько раз говорил с печальной улыбкой:

— Иногда какое-то отчаяние нападает... является какая-то проклятая неуверенность. Иногда работаешь, бьешься, а тут как палкой по голове: «Все, дескать, это некоторое сражение с ветряными мельницами и добродетельное удерживание бури зонтиком...» Ну, а потом опять этакая светлая вера является, надеждишки разные — где наше не пропадало.

В одно из посещений Мухоедова, когда мы далеко ушли с ним вдвоем, я, желая исполнить свое обещание Александре Васильевне, издалека завел с ним речь о разных случайностях жизни и свел все на возможность увлечения, например, такой девушкой, которая может испортить порядочному человеку целую жизнь; вся эта мораль была высказана мной с остановками, перерывами, примерами и пояснениями, причем я чувствовал себя не совсем хорошо, хотя и пользовался всеми правами друга. Мухоедов слушал мою проповедь с признаками нетерпения, грыз ногти, а потом спросил, как Гаврило Степаныч:

— Тебя Александра Васильевна научила?

— Будто я уж сам и не могу додуматься до такой простой вещи, — проговорил я, стараясь обидеться. — При чем тут Александра Васильевна? Я... думаю, что поступаю как твой лучший друг.

Мухоедов покатился от душившего его смеха по траве, а его «лучший друг» стоял, вытаращив глаза; когда пароксизм смеха прошел, Мухоедов сел рядом со мной, помолчал и заговорил глухим голосом:

— Ты не отпирайся, у меня свои глаза есть, и я отплачу тебе откровенностью за твою хитрость. На Глашке — дело идет о ней, если я не ошибаюсь, — я никогда не женюсь, не потому что это пустая девчонка, а потому... как это тебе сказать?.. Ну, словом, нет у меня этих семейных инстинктов, нет умонаклонения к семейному очагу и баста. Да и жить, может, уж недолго осталось, дотяну как-нибудь по-прежнему вольной птицей.

VI

В начале июля жизнь нашего мирного уголка была встревожена вторжением Муфеля, который, проездом на какую-то охоту, в сопровождении довольно многочисленной свиты, состоявшей из лесничих, «сестер» и нескольких лесообъездчиков, счел своим долгом посетить Гаврилу Степаныча и, встретив меня здесь, выразил нечто вроде удовольствия; любезность этого немца зашла настолько далеко, что он даже предложил мне принять участие в его охоте, но я отказался от этого удовольствия, в чем после не имел повода раскаиваться, потому что такие охоты Муфеля были только предлогом для некоторых таинственных оргий, устраиваемых для него «сестрами» и лесничими. В этих оргиях главная роль принадлежала женщинам, а в настоящем случае приманкой служила какая-то пикантная «штучка», которой подчиненные угощали своего повелителя; эти периодические экскурсии были в порядке вещей, и Муфель отдыхал в них от своих трудов и забот по управлению заводом. Орда, сопровож-

давшая его, представляла из себя самую оригинальную картину: «сестры» были в своих неизменных полукафтаньях, верхом на отличных лошадях, с какими-то лядунками, развешанными на груди и неловко болтавшимися при каждом движении; они крепко сидели на высоких пастушьих седлах, как люди, привыкшие ездить верхом; у каждого под седлом, вдоль лошади, были привязаны кремневые «турки», вероятно, на всякий случай.

Муфель и двое лесничих были одеты в серые охотничьи куртки с зелеными аксельбантами, высокие охотничьи сапоги и тоже были украшены лядунками и двустволками; один лесничий был старик немец с умным красным лицом и длинными седыми усами, говорил мало и резко; другой помоложе, из братьев поляков, с дерзким лицом, украшенным небольшой эспаньолкой, с усиками, закрученными шильцем. В эту же компанию замешался толстый подрядчик, который мешком сидел на лошади, тяжело вздыхал и был без всякого оружия, кроме небольшой березовой ветки, которой он не без ловкости отгонял овод с лошади Муфеля. Пять человек лесообъ-

ездчиков, одетых в серые куртки из толстого фабричного сукна, были подобраны молодец к молодцу и предупреждали малейшее желание Муфеля: садили и снимали его с седла, подавали ему фляги с водкой, сигары, причем каждый раз быстро снимали с себя мерлушчатые круглые шапки с зеленым верхом; из них выделялись более других сыновья Прохора Пантелеича. «Коскентин» был, как всегда, угрюм и выглядывал травленым волком; Филька, как всегда, был весел и смотрел кругом своими улыбавшимися хитрыми карими глазками самым беззаботным образом, весело встряхивал подстриженными в скобу русыми волосами и забавно крутил своей кудрявой бородкой.

Вся эта орда перевернула вверх дном решительно все в нашей избушке: старик лесничий барабанил на рояле арии из m-me Angot, молодой поляк делал глазки Александре Васильевне, выпячивал и надувал грудь, закручивал молодецки усы; бедная женщина краснела и не знала, куда ей деваться от такого любезного кавалера. Лесничий попробовал даже забраться в кухню и предложил свои

услуги хлопотавшей хозяйке помочь ей у печки, но и это было отвергнуто, и оставалось только крутить усы, выпячивать грудь и прохаживаться по крыльцу индейским петухом.

— О, ви слюшайсь мэнэ, — ораторствовал Муфель, хлопая Гаврилу Степаныча своей могучей рукой по плечу.

— Кушай Bier...[9] бифштекс с кровь... Вот как я, молодец мущин!..

— Коньяк тоже во многих болезнях отлично помогает, — говорил лесничий из-за рояля, — со мной раз был случай...

— И коньяк хорошо... мой любит коньяк.

Поляк что-то шепнул Муфелю, кивнув головой в сторону проходившей мимо Александры Васильевны; Муфель взъерошил свои волоса и громко захохотал.

— И мой хочет хворать, — кричал он, обращаясь к Гавриле Степанычу, — если бы у мэнэ был такой красивой жон, — мой тоже болен... Ха-ха! Тут всякий болен... О, какой миленький дам!..

Муфель был в некотором подпитии и нес самый невозможный вздор, от которого бедный Гаврило Степаныч весь позеленел; я не

мог дольше выносить этой сцены и вышел на крыльцо. «Сестры», подрядчик и лесообъездчики расположились в тени навеса, где солнце не так жгло; лошади были привязаны в лесу, и для них был устроен небольшой костер из гнилых пней и свежей травы, дававший густую струю белого едкого дыма. «Сестры» сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали между собой вполголоса; лесообъездчики окружили толстого подрядчика, который лежал брюхом прямо на земле, болтая толстыми ногами, заключенными в смазные сапоги. В руках у подрядчика была бутылка, которая служила предметом общего разговора и вызвала несколько шуток.

— Куда ты нянчишься с ней, Никитич? — спрашивал Филька, ласково заглядывая на бутылку.

— Куда?! Место найдем, — флегматически отвечал подрядчик, движением головы сдвигая картуз на ухо, — ты думаешь, это простой коньяк. Не-ет, брат, это называется финшалпал; восемь рублев отдал за бутылку. Понял?

— Еще, пожалуй, меньше... — острил Филька, с любопытством трогая бутылку указа-

тельным пальцем. — Ах, Никитич, Никитич, хоть бы ты нам понюхать дал...

— Рылом не вышел еще; не хочешь...

— А я этого финшалпалу пивал страсть сколько, — заговорил Филька. — Вот-те ну бог, пивал...

— По которому гуси плавают?

— Нет, настоящий; как рюмочку хватишь, так и вдарит по голове, точно поленом.

— Што-нибудь да не так, — сомневался подрядчик, играя соломинкой, которую он держал в зубах. — Это вино только господа пьют... Вот приедем на место, я сейчас Слава-богу супрыз и сделаю; с самой Пеньковки везу эту бутылку за пазухой, а ты: «пивал!..» Рожа!

— Ей-богу, пивал! Сейчас провалиться: пивал! — клялся Филька, встряхивая русыми волосами.

— Говорят тебе, несуразный ты человек, господа пьют финшалпал, а ты восьми-то рублей сроду не видывал...

— И я с господами пил, — продолжал утверждать Филька.

— Филька... а, Филька! Расскажи, Филь-

ка, — пристали к нему другие лесообъездчики. — Только не ври; больно уж ты врать-то лют...

— Врать... Я — врать?! — обиделся было Филька, но сейчас же улыбнулся и, почесав за ухом, заговорил: — Как-то в позапрошлой зиме ездили мы с Слава-богу в Косачи, а там Ястребок уж все устроил; и женский пол, и всякое прочее. По пути наловили в реке тальменей и заварили важнеющую уху; давай есть. Мировой судья с нами был, он живо натюкался и с копыльев долой; мы его так в уголок и прибрали, чтобы под ногами не мешался, а Слава-богу с Ястребком крепки на вино; пьют да только краснеют, да все на девок наступают, а девок полна изба, сидим все равно как в малине. Все хорошо. Заставили меня на губах камаринского играть, учали плясать; Ястребок на руках давай ходить, всех девок перепугал до смерти, а Слава-богу песни задувает и все по-своему лопочет, как лесной... Нас, лесообъездчиков, со смеху уморили и все водкой накачивают, все водкой: пей — не хочу! До самого утра этаким манером гарцевали, а потом наши господа отобрали себе по

принцессе и нас из избы по шеям; я порядки эти ихние в тонкости знаю, а когда играл на губах, одну бутылочку с финшалпалом в пазуху спрятал. Ушли мы все на сарай и этот финшалпал весь выпили, а тут только заснули, слышим в избе кричат: «Караул! умер!..» И по-немецкому Слава-богу лопочет совсем несуразное, точно его колют... Прибежали мы в избу: темно; а Слава-богу пуще того не своим голосом: «Караул! умер!..» Вздули огня; Слава-богу завалился под лавку да там и орет во все горло, мы его оттедова добыли, опамятовался и благодарить стал... Девки, которые с ними были в избе, залезли на печку и тоже воют не своим голосом; Ястребок свернулся клубочком, спит, так и разбудить его не могли. А мировой сидит у поганой кадки, в которую бабы помои коровам выливают, и ковшом помои эти самые пьет... Вот где было смеху: в жисть свою не припомню, чтобы этак когда вышло!

— А Слава-богу зачем кричал? — спрашивал подрядчик, болтая ногами.

— Слава-богу лег на пол спать с своей принцессой, да во сне под лавку и закатись,

а тут проснулся, испить захотел, кругом темень, он рукой пошевелил — с одной стороны стена, повел кверху — опять стена, на другую сторону раскинул рукой — опять стена (в крестьянах к лавкам этакие доски набивают с краю, для красы), вот ему и покажись, что он в гробу и что его похоронили. Вот он и давай кричать... Ну, разутешили они нас тогда!

Этот рассказ вызвал взрыв общего хохота: подрядчик, лежа по-прежнему на брюхе, уткнул свое лицо в траву и только дрыгал ногами, лесообъездчики надрывались от смеха и хватались за бока, сам Филька хохотал больше всех и от удовольствия катался по траве, даже «сестры», и те потихоньку хихикали в своем углу, как две совы; из всей этой компании один Коскентин оставался по-прежнему в угрюмом настроении. Когда подрядчик немного пришел в себя, он поднял свое мягкое, как подушка, лицо и спрашивал Фильку, захлебываясь от смеха:

— О, чтоб те разорвало... Так ты говоришь: Слава-богу кричит: «умер», а мировой ковшом из поганой кадки помои пьет? О-ха-ха-ааа!

— Мировой проснулся ночью-то, — объяснял Филька, — в избе темень, душа горит, вот он пополз по полу-то, да и нашел ковш... думает — вода и давай пить! После его рвало-рвало с помоев-то, а Ястребок катается, хохочет над ним.

— А ты бы, Филька, рассказал лучше Никитичу, как тебя Гаврило Степаныч с бревном поймал, — угрюмо заговорил Коскентин.

— Что с бревном... с бревном не ускочишь, — с недовольством в голосе отозвался Филька, — только ему мое бревно впрок не пойдет. Он теперь уж высох весь, кикимора...

— Это он твоим бревном подавился, Филька, оттого и сохнет, — говорил Никитич.

— Я его и то собираюсь из-за полена углом шарахнуть... Верно!.. Не в свое дело суется: разве это его дело, коли я бревно везу?.. Сейчас к лесничему меня вместе с бревном, а наш Карла покричал на меня для видимости, а когда Гаврило Степаныч ушел, он и говорит: «Вот, говорит, два дурака навязались — один бревна не умеет украсть, а другой дурак ловит...» Ей-богу! Карла у нас порядок любит, а главное не беспокой его... Разве когда под сер-

дитую руку подзатыльника даст. Как-то устроили они охоту на медведя; нас, лесообъездчиков, человек десять было; по первому снежку и видно, как он бродил, мы и идем прямо по сакме. Впереди идет Слава-богу, за ним наш Карла, мы издальки идем; завел этот след нас в разгустой-густой лес, а я по следам вижу, что матерый медведь ходил, пожалуй, покажет такую страсть, что небо с овчинку... Только вдруг слышим — взревел медведь, значит объявился, что хозяин дома, пожалуйте в гости; наш Карла обробел, побелел весь, руки так и трясутся... Пустили мы вперед лесообъездчика Анику, он с рогатиной хоть на черта; Аника живо обработал медведя, а тут Карла его из левольверта пристрелил, а сам все трясется, как осина. Убили мы таким манером медведя, хватились Слава-богу, а его нет; Карла говорит, что беспременно задавил его медведь, и посылает нас по лесу его мертвого искать. Разбрелись мы по лесу, а я пошел назад, потому знаю, что Слава-богу от медведя без оглядки домой задул, и след его скоро нашел, а потом и вижу, как он под кустом спрятался и ружье бросил.

— Подхожу я к нему потихоньку, а он думает, что это медведь, да как бросится от меня бежать — шапку даже потерял, так без шапки и летит, как поповский жеребец; кое-как я догнал его и привел к Карле, а он сидит на мертвом медведе да пред лесообъездчиками храбрость свою рассказывает. Я подошел к нему и говорю: «Слышал, мол, я, Карл Карлыч, как вы воркунов-то спутали...»

— Ну?..

— Верно!

— Поди, врешь?

— Чего мне врать... не подряд взял врать-то! Карла ничего, не осердился, потому на охоте говори ему, что хошь, порядок у него такой. Вот лесоворов ловить, так супротив Карлы никому не сделать; он по духу слышит, где дерево рубят, и сейчас к мировому, а потом на высидку, потому у него везде порядок.

— Без порядку невозможно, — флегматически соглашался Никитич.

Гости, против моего ожидания, остались на Половинке до самого вечера и совсем испортили нам целый день; все страшно пили, кричали, старик немец барабанил вальсы,

Муфель был красен, как вареный рак, и вздумал угостить почтенную публику целым представлением. Принесли длинную жердь, «сестры» положили ее себе на плечи, и Муфель принялся выделывать на ней гимнастические упражнения: вертелся на брюхе, вертелся на локтях, вертелся на согнутых коленках — словом, показывал чудеса своего искусства; «сестры» только кряхтели и сильно пошатывались, когда Муфель выделывал разные salto mortale;[10] лесообъездчики ахали, Никитич стоял в немом восторге с растворенным ртом. Наконец и это кончилось, и вся орда скрылась в лесу, а мы все остались такими измученными и несчастными, что тяжело было смотреть друг на друга; Гаврило Степаныч повесил голову и только вытягивал шею, точно его что душило. Вечером он не вытерпел и, когда мы сидели за чаем, заговорил:

— Не могу я видеть эту шайку воров… Ведь все до одного воры… Это ужасно…

— Гаврило Степаныч, ты опять… — попробовала было остановить мужа Александра Васильевна. — Помнишь, как доктор строго запретил тебе волноваться…

— Ах, Саша, Саша... — каким-то ребячьим шепотом заговорил Гаврило Степаныч, а на впалых щеках так и заиграл яркий румянец. — Разве доктор был у меня на душе? А если я не могу видеть этой мерзости, этих разбойников... Мне легче будет, если я выскажусь...

Обратившись ко мне, Гаврило Степаныч заговорил с такою поспешностью, точно боялся умереть прежде, чем успеет высказать все, что лежало у него на душе.

— Пеньковка и еще девять заводов принадлежат, как вы знаете, Кайгородову, который живет постоянно за границей и был на заводах всего только раз в своей жизни, лет пятнадцать тому назад; пробыл недели две и уехал. Впрочем, от его визитов только лишний расход, а пользы немного; он требует свои восемьсот тысяч ежегодно и больше знать ничего не хочет. Кутило и мот губит такие отличные заводы на Урале, а сам шатается по Европе да удивляет всех своими безобразиями. В Париже, в Вене, в Италии понастроил дворцов своим любовницам, а мы сохнем для него здесь на работе. Да сам Кайгоро-

дов еще ничего, плохо то, что немцы его совсем обошли: целая лестница из немцев... А у них известный порядок, как клопы: один появился, и целое гнездо сейчас заведется. Главный управляющий у нас немец, управители на заводах немцы, лесничие — немцы, плюнуть некуда; вот они и обрабатывают Кайгородова. Вы подумайте, что заводы Кайгородова ежегодно выплавляют до трех миллионов пудов металлов: чугуна, железа, стали, меди; одних дров ежегодно выходит до трехсот тысяч кубических сажен да столько же идет лесу на выделку угля — ведь подумать страшно... Есть около чего похозяйничать. Ну, и хозяйничают... Прибавьте к этому еще то, что заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, значит он имеет только право на пользование — вот мы и пользуемся!.. Да что им, этим немцам, и жалеть нас, дураков: выжгут все, набьют себе карманы и уедут, а мы останемся, как рак на мели. Вот вам пример нашего заводского хозяйства: из десяти заводов первое место принадлежит Нижне-Угловскому заводу, леса кругом него давно выжжены, строят Пеньковку, потому что кру-

гом Пеньковки лесу пропасть, значит нужно пустить его в ход. Руду везут к нам из Нижне-Угловского завода, мы ее переплавляем в чугун, превращаем в железо или сталь и везем обратно в Нижне-Угловский завод, чтобы там переделать в рельсовую болванку; своего чугуна нам недостает, нам везут его из других заводов, мы его переделываем в железо и отправляем опять в Нижне-Угловский завод. Другая чугунная болванка прогуляется таким образом раз шесть; да рельсы прокатим раза два от Пеньковки в Нижне-Угловский завод.

— По-моему, проще было бы возить в Нижне-Угловский завод прямо дрова и уголь; тогда вместо шести концов приходится сделать всего один, — проговорил я.

— Вот в том-то и дело, что в этом весь наш расчет заключается, чтобы перевозить с места на место руду и чугун. Вы представьте себе, что мы украдем по полтиннику с каждой сажени дров, да еще столько же сдерем с подрядчиков, которые живут нашей перевозкой: им выгодно и нам выгодно, а Кайгородов рукой на все махнул, хоть трава не расти. Вы видели сегодня Муфеля и лесничих, вот у них

рука руку и моет, живут душа в душу, а около них наживаются «сестры», лесообъездчики, целая шайка подрядчиков... Так как заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, то от горного департамента существует горный исправник, который столько же может сделать, как Евстигней: видит все, своими глазами все видит, а взять не с кого. Пеньковка жрет дрова; а что против этого поделаешь? Чтобы отвести глаза исправнику, лесничие придумали какую штуку: всем лесообъездчикам заказано строго-настрого преследовать лесоворов, вот они и усердствуют, завалили мировых судей делами о лесных кражах, а им это на руку, потому что они сами воруют в десять раз больше и продают лес тем же рабочим. Везет мужик жердь, бревно, осьмушку дров — сейчас к мировому, а мировые судьи пляшут по дудке немцев и преследуют лесоворов высидкой и штрафами. Настоящие-то лесоворы остаются в стороне и капиталы наживают, а мужик отдувается за все: и в кутузке сидит за каждое полено, и штрафы с него мировые судьи дерут, да еще он же должен ворованный лес втридорога покупать все

у тех же лесообъездчиков. Эта штука очень ловкая: исправник спокоен, потому что знает, куда лес идет, — лесоворы воруют; лесничие и лесообъездчики набивают себе карман отчасти собственным воровством леса, а отчасти от подрядчиков, которые поставляют дрова и уголь; Муфель тоже не в накладе, у него в руках вся перевозка и от лесничих перепадет... Помните басню Крылова о том мельнике, у которого вода размыла плотину, а он все свалил на куриц; у нас роль этих куриц играют лесоворы. Ведь это ужасно, ужасно...

Гаврило Степаныч сильно увлекся своей темой; Александра Васильевна потихоньку несколько раз дергала его за рукав, но этот невинный маневр не привел к желаемой цели, а еще больше сердил Гаврилу Степаныча, и он с горечью проговорил:

— Саша, голубчик... Ведь я служу Кайгородову; жизнь свою положил на его заводах, поэтому имею полное право и обязан называть вещи их именами. Ведь сегодня эта саранча всю душу из меня вытянула... Ах, Саша, Саша, нельзя же все думать только о себе!

Посещение Муфеля уложило Гаврилу Сте-

паныча на несколько дней в постель.

В конце июля моя работа была совсем почти кончена, оставалось еще собрать несколько сведений в пеньковском архиве, а затем съездить в Нижне-Угловский завод, чтобы там проверить кой-какие цифры, которые вошли в мою работу; благодаря указаниям и помощи Гаврилы Степаныча мой труд представлял из себя очень интересную картину экономической жизни Пеньковского завода, главная роль в которой принадлежала ужасающей цифре смертности во всех возрастах, стоявшей, по-видимому, в таком противоречии с наружным благосостоянием Пеньковки. Эти роковые цифры смертности, как ртуть в термометре, разоблачали ту жалкую правду, о которой так горячо всегда говорил Гаврило Степаныч и которую с первого взгляда так трудно было заметить; вообще я как нельзя больше был доволен результатами своего труда и отлично проведенным летом. Я от души полюбил Гаврилу Степаныча и Александру Васильевну, и мне тем печальней казалась необходимость расставаться с Половинкой и этими милыми людьми, с которы-

ми было связано столько отрадных воспоминаний. Мне нужно было уезжать, но я день за днем за разными предлогами откладывал свой отъезд, не имея сил расстаться с своими новыми друзьями; в последних числах июля я, наконец, объявил, что уезжаю. Гаврило Степаныч не удерживал меня, Александра Васильевна обиделась и промолчала. Вышла тяжелая сцена, которая неизбежно испытывается при разлуке близких людей, но она разрешилась хотя и тяжелым, но самым трогательным образом.

— Нельзя же, Саша, ему жить с нами, — уговаривал жену Гаврило Степаныч, — прожили лето отлично, может, еще когда встретимся; чего же еще нужно?

Рано утром серого ненастного дня пред избушкой стояла телега, запряженная рыжей лошадью, и мы в последний раз пили чай на русском крыльце; Александра Васильевна больше молчала, зато Гаврило Степаныч не переставал говорить и выстраивал один за другим самые несбыточные планы наших будущих свиданий, и сам же смеялся над их несбыточностью, прибавляя каждый раз:

— А кто знает, может быть, и увидимся... Гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится; будем письма писать.

Я обещал еще раз приехать в Половинку, если позволят обстоятельства, но Александра Васильевна только качала головой и с недоверчивой улыбкой говорила:

— Это так, одни слова... Вон Мухоедов обещал чуть не каждый день ездить, а как переехали в Половинку, так по целым неделям и глаз не кажет.

Напутствуемый всякими пожеланиями и горячими пожатиями рук, я, наконец, уселся в телегу вместе с Евстигнеем; Гаврило Степаныч сбежал с крыльца, мы обнялись и по русскому обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться.

— Я не знала, что мужчины способны на такие телячьи нежности, — говорила она, держась одной рукой за притолоку крыльца.

— Ну, прощайте, голубчик, — говорил Гаврило Степаныч, укутывая мои ноги пледом с неизвестной целью, точно я мог их познобить в июле. — Хотел я проводить вас, голубчик, да день-то вон какой; ноги, пожалуй, промочу и

опять слягу… Я скоро совсем поправлюсь.

— Дальние проводы — лишние слезы, — отвечал я.

Евстигней задергал вожжами, телега тронулась, оставляя глубокий след на мокрой земле и безжалостно прижимая пожелтевшую траву; Гаврило Степаныч стоял на крыльце и махал шляпой, Александра Васильевна стояла на прежнем месте, и ее красивое лицо казалось по мере нашего удаления все меньше и меньше. Я в последний раз махнул своей шляпой, когда наша телега въезжала в лес, и Половинка скрылась из моих глаз за мелькавшей сеткой деревьев.

VII

В Пеньковке я нашел большие перемены, начиная с того, что Фатевна почему-то находила нужным «взбуривать» на меня; встречаясь со мной, она каждый раз ядовито улыбалась и еще более ядовито подбирала свои губы и смотрела на меня своими ястребиными глазами с полным презрением. Несколько раз я думал переговорить о всем этом с Мухоедовым, но и он совсем как-то переменился со мной и даже как будто старался избегать меня; о прежних откровенных разговорах не было и помину. Я терялся в догадках о том, какая кошка могла пробежать между нами, особенно между мной и Мухоедовым. Даже Глаша и та находила нужным почему-то фукать на меня, как кошка, а когда случайно встречалась со мной, не успев скрыться, как молния, она опускала глаза и делала сердитое лицо; в течение лета девушка совсем сформировалась и выглядела почти красавицей, если бы не резкие, угловатые движения, которые все еще отзывались детским возрастом. Одна Фешка была неизмеримо глупа по-прежнему;

по-прежнему стучала своими громадными ногами и улыбалась той блаженной улыбкой, какой могут смеяться только безнадежно глупые люди. Галактионовна по-прежнему, вероятно, выходила бы на крылечко позлословить на всю улицу, но этому мешало стоявшее ненастье; раз она думала было незаметным образом пробраться в мою комнату и, вероятно, разоблачила бы все, но ее положительно не допустили ко мне. Фатевна встретила ее таким градом ругательств, что бедный поэт, «живот спасая», заблагорассудил удалиться на свое пепелище самым поспешным образом. Я видел из своего окна, как ее длинная нескладная фигура шлепала по двору под проливным дождем и она отмахивалась своей костлявой рукой от ругани Фатевны, как от комаров.

Отец Андроник с Асклипиодотом раза два наведывались к нам, посидели, выпили, но Мухоедов так упорно отмалчивался все время их визита, а я настолько не умел поддержать разговора, что они, кажется, поняли, наконец, печальную истину, переглянулись между собой и, вероятно, решили про себя, что у нас

что-нибудь «не ладно», поэтому благоразумно воздержались от новых посещений. Уходя от нас в последний раз, о. Андроник с добродушной улыбкой проговорил:

— Заходите как-нибудь ко мне, братчики... У меня, может, веселее, чем у вас. Ох, уж это мне ненастье: поясницу так и ломит... Старость не радость, не красные дни! О-хо-хо!.. У меня вон хина и та с седала не сходит; растопырилась, как купчиха, и сидит.

Ввиду всех этих обстоятельств я положительно тосковал о Половинке и поторопился уехать в Нижне-Угловский завод, где и пробыл дней десять; когда я вернулся в Пеньковку, то нашел все в том же положении, в каком оставил, только Мухоедов был совсем неузнаваем — был скучен, печален и проводил почти все свое время в заводе. Однажды я совсем было решился объясниться с Мухоедовым начистоту, чтобы разом покончить со всей этой проклятой неизвестностью, но он сделал такое жалкое лицо и таким умоляющим взглядом посмотрел на меня, что у меня просто рука не поднялась нанести ему решительный удар.

— После... мне нужно с тобой будет переговорить, — глухо прошептал однажды вечером Мухоедов, завертываясь в одеяло. — Только, пожалуйста, теперь ни о чем не спрашивай меня.

Август был в половине, и стояла какая-то совсем отчаянная погода — дождь, дождь и дождь, мелкий и беспощадный, настоящий осенний дождь, который «зарядил» на целый месяц; провернулось, правда, несколько солнечных дней, но солнце светило таким печальным светом, и кругом было все так безнадежно серо, что на душе щемило от этих печальных картин еще сильней, точно не было конца этим серым низким тучам, которые ползли по небу расплывающимися мутными пятнами, с поспешностью перебираясь на юго-запад. Улица, на которую выходили окна моей комнаты, имела теперь самый печальный вид: ряды домиков, очень красивых в хорошую погоду, теперь выглядели мрачно, а непролазная грязь посредине улицы представляла самое отвратительное зрелище, точно целая река грязи, по которой плыли телеги с дровами, коробья с углем, маленькие тележ-

ки с рудой и осторожно пробирались пешеходы возле самых домов по кое-как набросанным, скользким от дождя жердочкам, камням и жалким остаткам недавно зеленой «полянки».

Пруд, который еще так недавно представлял ряд отличных картин, теперь совсем почернел и наводил уныние своей безжизненной мутной водой; только одна заводская фабрика сильно выиграла осенью, особенно длинными темными ночами, когда среди мрака бодро раздавался ее гул, а из труб валили снопы искр, и время от времени вырывались длинные языки красного пламени, на минуту побеждавшие окружавшую тьму и освещавшие всю фабрику и ближайшие дома кровавым отблеском. Вообще трудно представить себе что-нибудь скучнее русской осени, но осень в Пеньковке была положительно из рук вон и нагоняла страшную тоску. Моя работа была кончена, через несколько дней я думал совсем распрощаться с Пеньковкой и ее обитателями; но мне хотелось пред отъездом еще раз побывать в Половинке, и я пережидал только, когда дождь немного стихнет.

Ночь на 12 августа была особенно неприветлива: дождь лил как из ведра, ветер со стоном и воем метался по улице, завывал в трубе и рвал с петель ставни у окон; где-то скрипели доски, выла мокрая собака, и глухо шумела вода в пруде, разбивая о каменистый берег ряды мутных пенившихся волн. Мухоедов находился в особенно мрачном настроении, курил безостановочно одну папиросу за другой, и мы кончили тем, что улеглись спать раньше обыкновенного; я скоро заснул под шумок завывавшего ветра и однообразное тикание стенных часов, но в эту бурную ночь нам не суждено было спать. Часа в два утра, в момент самого крепкого сна, послышался сильный стук в двери и громкие голоса; мы быстро вскочили с постелей, отворили дверь, и пред нами показалась Фатевна с фонарем в руках, за ней вошел в комнату Евстигней. Старик был в одной рубахе, без шляпы, и, как говорится, на нем нитки сухой не было, точно он сейчас вылез из воды; он несколько секунд не мог ничего выговорить, сухие губы шевелились без всякого звука, и он как-то судорожно дергал руками, напрасно что-то стара-

ясь объяснить.

— Да что с тобой, Евстигней? — спрашивал Мухоедов. — Откуда ты?

— Да он совсем очунел: слова от него нельзя добиться! — тараторила Фатевна; из-за ее спины выглядывали заспанные лица Фешки, Глаши и Галактионовны.

— Казинет Петрович... родимой мой... убили!.. — трясясь всем телом, проговорил, наконец, Евстигней.

— Кого убили?!. — вскричал Мухоедов, побледнев как полотно.

— Гаврилу Степаныча застрелили...

— Кто?.. Когда?.. Где?..

— Да на Половинке... легли мы спать... как он запалит... я вскочил... барыня без ума ко мне... а в спальне Гаврило Степаныч лежит... кровь из него так и хлещет... из боку... как запалит!..

— Сам, что ли, он выстрелил в себя?

— Какое сам... из лесу... в окошко... как запалит!

Мы несколько секунд стояли, как пораженные громом; первым опомнился Мухоедов и подробно принялся расспрашивать старика,

но последний ничего не мог сказать больше того, что сказал, и прибавил только, что барыня послала сказать ему. Старик плакал, крестился и шептал:

— Господи Сусе... Пресвятая троица... Как запалит, а кровь из боку так и хлещет!

Мухоедов, закусив губу и опустив глаза, стоял несколько минут, а потом, хлопнув себя по лбу, торопливо заговорил, обращаясь ко мне:

— Ты сейчас садись на лошадь Евстигнея и валяй на Половинку что есть мочи... Лошадь старая, дорогу знает; ты только понужай. Евстигней останется здесь и повезет доктора... Фатевна, седлай всех своих лошадей... Мне нужно остаться пока здесь, а потом я приеду.

Мне оставалось только согласиться; мы вышли на двор, дождь лил по-прежнему, ветер выл, как сумасшедший; старый Рыжко, понурив голову, стоял непривязанный у ворот и тяжело дышал. Седла не было, но дело было настолько спешное, что о нем и думать было некогда. Мухоедов помог мне взобраться на лошадь и по пути шепнул:

— Это дело «сестер»; мне нужно сейчас же,

по горячему следу, накрыть их и сделать обыски...

Бабы, как угорелые, метались по двору, кричали и выли; я надвинул крепче шляпу на голову, ударил Рыжка поводом по дымившимся бокам, и мы пустились на всех рысях в далекий путь. Я плохо помню эту роковую дорогу; как сквозь сон помню только, что меня страшно трясло, и я напрягал все силы, чтобы не свалиться с лошади; рука, которой я держался за гриву лошади, совсем оцепенела, шляпа где-то свалилась, и я не чувствовал, что дождь на двух верстах промочил меня до костей. Кругом стояла египетская тьма, в двух шагах решительно ничего не было видно, и я во всем положился на инстинкт моего коня; не помню, сколько времени я ехал, но, наконец, вдали мелькнул слабый огонек, Рыжко прибавил шагу, огонек приближался, вот и речка, верный конь прыгнул через нее с несвойственной его летам энергией. Вбегаю на крыльцо... ни одного звука. В спальне на полу лежит что-то белое, и над этим белым на коленях стоит Александра Васильевна; она не слыхала, как я вошел, и только мой голос вы-

вел ее из оцепенения; она не плакала, казалась спокойной, но какая-то бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах! Я никогда не забуду этого покорного выражения, которое красноречивее всяких обмороков, истерик, криков и воплей.

— *Они* убили его... — прошептала Александра Васильевна, не поднимаясь с колен.

Из ее бессвязного рассказа я понял следующее: часов в одиннадцать вечера, когда Гаврило Степаныч натирал грудь какой-то мазью, она была в кухне; послышался страшный треск, и она в первую минуту подумала, что это валится потолок или молния разбила дерево. Вбежав в спальню, она увидела, что Гаврило Степаныч плавал в крови на полу; он имел еще настолько силы, что рукой указал на окно и прошептал:

— Саша... они меня убили... прощай!

Я подробно осмотрел сделанное пулей отверстие в стекле; окно было завешано двумя белыми занавесками, которые не сходились плотно и образовали широкую щель, вот в эту щель и был сделан выстрел. Пуля вошла в левый бок, немного позади сердца, рана была

безусловно смертельна; Гаврило Степаныч лежал на правом боку, одна рука была откинута в сторону, другая придерживала рану; лицо покойного было сине, зубы стиснуты, глаза полузакрыты. Достав фонарь, я пошел осмотреть избу кругом — никаких следов, только один лес глухо шумел под напором ветра да где-то дико вскрикивал филин; вернувшись в комнату, я нашел Александру Васильевну в передней избе, она стояла у письменного стола и, обернувшись ко мне, указала рукой на листик почтовой бумаги, на котором было начато письмо.

— Это *он* вам... вчера... писал... — прошептала Александра Васильевна, и только теперь глухой стон вырвался у ней из груди, и она зарыдала, схватившись за голову.

Это письмо — первая вещь, которая привела ее немного в себя и к сознанию той пустоты, которая окружила ее так внезапно; я усадил ее на диван, принес холодной воды, просил успокоиться, но какое значение имеют слова утешения, когда сердце разрывается на части. Я отлично сознавал полную бесполезность моих утешений, но продолжал выска-

зывать их; Александра Васильевна прислушивалась только к звуку моих слов, их содержание было недоступно ее подавленному мозгу.

— Нет... нет его больше... — шептала она, ломая руки. — А как он любил всех!.. Сколько добра желал всем... а они убили его... как дикого зверя убили!.. Зачем не убили меня вместе с ним?!. Нет больше моего счастья... Мы вчера еще говорили о вас... он писал вам вечером это письмо... Убили, убили!..

Послышался грохот подъехавшего экипажа и голос Евстигнея, который говорил кому-то: «Пожалуйте сюда, вот в эту дверь!» Это были пеньковские доктора. Я провел их в комнату, где лежал убитый, и по дороге старался объяснить им, что Гаврило Степаныч не нуждается в их помощи, а что им нужно для составления протокола подождать приезда следователя, за которым в Нижне-Угловский завод послан нарочный. Александра Васильевна вошла за нами и молча остановилась в дверях; доктор наклонился над убитым, открыл простыню, которой он был прикрыт, и внимательно принялся рассматри-

вать запекшееся черное отверстие.

— Наташа, посмотри! — вскрикнул доктор, поднимая голову. — Скорее...

— Он жив... он жив?! — вскричала Александра Васильевна.

— Ах, нет, рана безусловно смертельна, и он давно умер, — успокаивающим тоном проговорил доктор. — Наташа, посмотри, какое направление приняла пуля: скользнула по краю ребра и прошла по задней стенке сердца...

Александра Васильевна поняла, что от любимого человека остался только предмет для анатомических исследований, но все чувства заговорили в ней против этого, она своим телом заслонила убитого и прошептала:

— Господа, оставьте... прошу вас...

— Мы хотели исследовать рану...

— Оставьте... Вы не поймете теперь меня... после... Нет, не то... оставьте!..

Я отвел врачей в сторону и уговорил их подождать следователя; врачи не понимали поведения Александры Васильевны и, по-видимому, были обижены им.

— Я не понимаю, почему она не хочет, что-

бы исследовали рану, — говорил доктор, — ведь он умер, он ничего не чувствует... труп.

— Он умер, но пожалейте ее, — объяснял я, — для нее он еще не умер... дайте ей прийти в себя, она не знает, что делает.

— Странно! — пожимая плечами, говорил врач.

— Стоило ехать за этим двадцать верст, — зевая, ворчала женщина-врач. — Предрассудки!..

Часов в девять утра прискакали две телеги, конвоируемые Фатевной, которая приехала верхом без седла; первой телегой правил Мухоедов, в ней спал мертвым сном Цыбуля, судебный следователь. Вторая телега была набита понятыми и полицией. С Цыбулей пришлось отваживаться при помощи нашатырного спирта и холодной воды, потом выпоить ему целый графин водки, и он только после этих довольно длинных операций настолько пришел в себя, что мог начать производство судебного следствия; по наружности это был представитель хохлацкого типа — шести футов роста, очень толстый, с громадной, как пивной котел, головой и умным, то есть ско-

рее хитрым лицом, сильно помятым с жестокого похмелья. Он двигался крайне медленно и равнодушно смотрел кругом своими узкими ленивыми глазами, совсем опухшими от беспросыпного пьянства. Меня он совсем не узнал, хотя мы учились с ним на одном курсе и имели когда-то шапочное знакомство. Мухоедов выходил из себя, пока совершалось приведение в нормальное состояние Цыбули; он без церемоний ругал его, а потом, отведя меня в сторону, таинственно сообщил:

— Цыбуля хотя и пьян, лыка не вяжет, а хитер, как легион бесов... Мы напали на след; вот он с радости и нахлестался дорогой!

— А что «сестры»?

Мухоедов почесал затылок и с недовольной миной проговорил:

— Вот в том-то и секрет, что «сестры» пока еще ничего; мы были у них, застали спящими, никуда не выходили с вечера. Ну, да это пустяки, Цыбуля доберется и до них.

— Какой же вы след нашли?

— Какой след? А вот какой: когда мы сделали обыск у «сестер» и ничего не нашли, мы сейчас в заднюю избу к Прохору Пантелеичу,

к Коскентину и Фильке... Помнишь?.. А их, голубчиков, и дома нет; положим, что это по их должности очень естественно, но штука в том, что мы только что хотели ехать сюда, Филька и приезжает домой, мы его и сцарапали. С первых слов видно, что это его рук дело: побелел весь, начал путаться в показаниях, а главное — приехал без ружья. «Где ружье?» — «В починке...» Ну, знаем мы эту починку, сейчас к мастеру, на которого он сослался, а у мастера этого ружья, конечно, не оказалось, — словом, запутался совсем и в ногах валяется, а виновным себя не признает. Засадили его в темную, а сами сюда.

Мухоедов долго не решался войти в комнату, где лежал убитый и где сидела Александра Васильевна все время, пока мы отваживались с Цыбулей; увидав входившего Мухоедова, Александра Васильевна тихо заплакала. Бедный Мухоедов зашатался на ногах при виде убитого, крупные слезы так и покатились из его глаз; он закрыл лицо руками и убежал на крыльцо, где долго рыдал, присев на ступеньку. Наступила тяжелая сцена судебного следствия и составления протокола; Цыбуля, вра-

чи и понятые битых два часа ходили по избе и около нее и, конечно, ничего не могли найти. Фатевна принимала самое деятельное участие в этой церемонии и вместе с Цыбулей ползала на коленях по мокрой траве и обнюхивала каждую щель. Цыбуля очень долго исследовал место, с которого был сделан выстрел, но все было тщетно, — ни одного следа, кроме помятой травы, ни одного намека. После осмотра и медицинского свидетельства раны был сделан допрос свидетелей, которых было всего двое — Александра Васильевна и Евстигней. После этого Цыбуля опять ходил по избе и около нее, мерял, высчитывал, записывал что-то в записную книжку и кончил тем, что, обратившись с озабоченным лицом к Александре Васильевне, серьезно заговорил:

— Преступление несомненно, но нет ли у вас, Александра Ивановна...

— Александра Васильевна, — поправил я его.

— Да, да, виноват: Александра Васильевна, действительно Александра Васильевна... Помню, да, помню. Извините... Следы пре-

ступления скрыты с замечательным искусством, но не теряйте надежды, Александра Ива... то бишь, Александра Васильевна! Нет ли у вас... гм!.. Нет ли у вас...

— Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений на кого? — помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цыбуле.

— Нет, не то...

— Других свидетелей?

— Нет... Нет ли у вас водки, Александра Васильевна?

Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавна, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну; водка нашлась, Цыбуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми; часов в одиннадцать прискакал Муфель в сопровождении Ястребка и других заводских служащих.

— А шерт возьми!.. Швин... канайль! — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избу; в сенях он встретился с Александрой Ва-

сильевной и крепко пожал ей руку. — Это ушасно... Мой все разберет!.. Ви не проливай слес...

Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека — может быть, сказалась в нем добрая немецкая натура или уж в известные критические моменты и в дураке пробивается искра человеческого чувства.

Последними приплелись о. Андроник и Асклипиодот, оба верхами на самых жалких клячах; о. Андроник ехал с своей длинной поповской палкой в руке, Асклипиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилом и свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него; он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение о. Андроника пришлось ей больше всего по душе, и она в каком-то дет-

ском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы.

— Не плачьте, днем раньше, днем позже все там будем... Бог все видит: и нашу правду, и нашу неправду... Будем молиться о душе Гаврилы Степаныча... Хороший он был человек! — со слезами в голосе глухо заговорил о. Андроник и сморгнул с глаза непрошеную слезу. Меня поразила эта перемена в о. Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему; он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика.

— Батюшка... я думала, что умру... сойду с ума! — шептала Александра Васильевна.

— Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости, — продолжал о. Андроник. — Вспомните, что сказал Иов: «Господь даде, господь отъя — не возропщи, душа моя».

Через полчаса в передней избе, на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврило Степаныч; его небольшая го-

лова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами; о. Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, Асклипиодот прижался в угол. Началась лития.

— О блаже-еннн-ом успении новопредставленного раба твоего... и сотво-ори-и ему ве-е-ечную па-амять! — речитативом затянул о. Андроник немного дрогнувшей октавой.

— Ве-е-ечная память... — пел своим удивительным баритоном Асклипиодот, совсем спрятавшись в угол. Восковые свечи горели тусклым красным пламенем; дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса... Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на Половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо, а потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны; убитый, бледный Мухоедов стоял в углу, рядом с Асклипиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дро-

жащим голосом подхватывал «вечную память». Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались; Цыбуля и Слава-богу сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшие друг другу и пальцами указывавшие на Александру Васильевну.

— В самое сердце запалил, — говорил какой-то обдерганный мужик. — Из турки, надо полагать, двинул...

— Наскрось пуля-то прошла, — отвечал другой.

Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли, в душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая

бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить Половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на своем рабочем столе, пригвожденный к нему мертвым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы, изможденном теле, была прервана, и детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела... вон оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами... вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда... вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу, не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастьями!..

«О, люди-звери, люди-звери! — думал я. — Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, что-

бы он искупил ей свою любовь к людям...»

Пред моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я... Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник, волнами ходил дым ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение! Как живая стояла предо мной сцена нашего прощанья... «Скоро увидимся...» Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из-за этого бревна убить человека. «Сестры» подвели... но уж если они захотели бы подвести, то, наверно, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом — все было неясно, сбивчиво, темно и вдобавок ко всему этот пьяный Цыбуля с Муфелем, это назойливое любопытство... Только одни о. Андроник и Асклипиодот были хороши, первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем; Александра Васильевна больше не плакала, она стояла с восковым лицом и машинально

делала то, что делали другие: крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке.

В течение трех дней я и Мухоедов не выезжали из Половинки. Асклипиодот читал над покойником, когда он уставал, мы сменяли его; о. Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал; его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал; все соседи подтвердили последнее показание, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этим известием и, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цыбули, который хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем.

К довершению всех бед на Половинку явились три племянника и две племянницы Гав-

рилы Степаныча, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но, в ответ на ее любезность, они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васильевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников, и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и с дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами сообщил мне:

— Представь себе: они явились за наследством и намерены пустить Александру Васильевну по миру... Как это тебе понравится? Это в благодарность за то, что Гаврило вывел их в люди десятилетним трудом... О подлецы, подлецы! Да это еще ничего, они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества... Это какие-то разбойники, а не люди!..

Мне и Мухоедову стоило большого труда уговорить молодых людей отложить опись

имущества до похорон; племянники, очень приличные молодые люди, долго не сдавались на наши просьбы и все упирали на то, что имущество может потеряться. Особенно крепко держался старший племянник, и Мухоедов до крови кусал губы, чтобы удержаться и не наговорить этому господину дерзостей, чем он мог испортить все дело.

— Ведь Гаврило Степаныч воспитывал вас всех, — усовещал Мухоедов наследников. — Александра Васильевна теперь в таком положении... ведь она не чужая вам, пожалейте вы ее!.. Неужели так трудно подождать несколько дней?.. Всего несколько дней!.. Имейте же совесть, господа!

— Мы не без совести, — объяснял старший племянник, — мы очень любили дяденьку и всегда чувствуем к ним благодарность, а так как у них не осталось завещания, поэтому мы в своем праве... Да-с. Тетенька сами по себе, мы сами по себе; они свою четвертую часть получат сполна-с... Нам даже очень жаль дяденьку, а как они без завещания померли, мы в своем праве.

После долгих ломаний и увещаний пле-

мянники согласились, наконец, отложить опись до похорон; Александра Васильевна поняла сразу и цель их приезда и цель наших таинственных совещаний. Однажды, когда в комнате не было племянников, зорко следивших за каждым движением тетеньки, она обратилась ко мне:

— Передайте, пожалуйста, наследникам, что я не утаю ничего... Даже отказываюсь от своей четвертой части... Бог с ними! Я любила Гаврилу Степаныча слишком сильно, чтобы тревожить его память этими грязными расчетами... Я думала взять книги и рояль, но... как это мне ни трудно, я отказываюсь от всего наследства, какое мне следует по закону.

— Вот это так женщина! — в раздумье говорил Мухоедов, когда я передал ему решение Александры Васильевны. — Это, брат, человек...

Три тяжелых и мучительных дня, наконец, прошли; на Половинку привезли черный гроб, явился о. Андроник в сопровождении нескольких любопытных, в том числе Яши, который имел обыкновение провожать всех покойников.

Было светлое осеннее утро, когда мы вынесли черный гроб из избы и поставили на телегу; Рыжку предстояло в последний раз везти своего хозяина в далекий путь. Яша, в рваном полушубке и с босыми ногами, без шапки, с блуждающими добрыми глазами и длинной палкой в руке, суетился, кажется, больше всех: помогал выносить гроб, несколько раз пробовал, крепко ли он стоит на телеге, и постоянно бормотал:

— Убили... Иваныча убили!.. Сорок восемь серебром... убили... Я приказываю... Иваныча посадили в тюрьму... Иваныч стрелял...

Когда печальная процессия двинулась по дороге, Яша шел далеко впереди, сильно размахивал руками и громко пел «вечную память»; мы с о. Андроником и Асклипиодотом несколько верст шли за гробом пешком; пение «Святый боже...» далеко разносилось по лесу, и было что-то неизъяснимо торжественное в этом светлом осеннем дне, который своим прощальным светом освещал наше печальное шествие. Лес осенью был еще красивее, чем летом: темная зелень елей и пихт блестела особенной свежестью; трепетная

осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшею листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца; какие-то птички весело перекликались по сторонам дороги; шальной заяц выскакивал из-за кустов, вставал на задние лапы и без оглядки летел к ближайшему лесу. Этот покой природы, мягкий свет осеннего солнца и мирные проявления жизни обитателей леса освежали расшатанные нервы, успокаивали наболевший мозг и как-то невольно наталкивали мысль на идею о вечности, с одной стороны, и бренности человеческого существования, с другой.

Церемония отпевания в церкви, затем картина кладбища и тихо опускавшегося в могилу гроба производила на нервы прежнее тупое чувство, которое оживилось только тогда, когда о крышку гроба загремела брошенная нами земля... Все было кончено, больше «не нужно ни песен, ни слез», как сказал поэт; от человека, который хотел зонтиком удержать бурю, осталась небольшая кучка земли да венок из живых цветов, положенный на могилу

рукой любимой женщины.

Александра Васильевна сдержала слово и отказалась от своей части наследства, хотя мы с Мухоедовым и отговаривали ее от этого, потому что она оставалась без гроша денег, в одном платье, которое ей из милости оставили почтительные родственники.

— Мне немного нужно, — говорила Александра Васильевна, когда я прощался с ней. — Поступлю опять учительницей куда-нибудь; обзаведусь помаленьку...

Когда я уезжал из Пеньковки, дело о розысках убийцы было в прежнем положении: никаких следов, ни малейшей «нити»; я простился с своими друзьями и с самым тяжелым чувством оставил, наконец, Пеньковку, в которой пережил столько хорошего и печального. Мухоедов по-прежнему держал себя самым странным образом, но я не имел желания разъяснять наши отношения.

VIII

Моя работа по статистике Пеньковского завода затронула несколько таких вопросов, для изучения которых нужно было опять отправляться в заводы Кайгородова, но теперь целью моей поездки был Нижне-Угловский завод, в который ехать приходилось через Пеньковку. Ровно через год, опять в конце мая месяца, я подъезжал к Пеньковскому заводу. Был солнечный день. Заводские домики, как старые знакомые, смотрели приветливо; вдали чернела фабрика; над ней точно висела в воздухе белая церковь, — все было по-старому, «как мать поставила»; мой экипаж прокатился по широкой улице, миновал господский дом, в котором благоденствовал Муфель с «будущей Россией», и начал тихо подниматься мимо церкви в гору, к домику Фатевны. Мне, собственно, не хотелось останавливаться у ней, но деваться было некуда; «не больно у нас фатер-то припасено», как говорил мне в прошлый раз старик на земской станции, значит все равно не миновать; домик Фатевны не изменился за год ни на одну

иоту, и сама Фатевна встретила меня у ворот, как в прошлый раз, так же заслонила ручкой глаза от солнца и так же улыбнулась: дескать, милости просим.

— А ты опять к нам? — звонко заговорила Фатевна, взвалив на плечо мой чемодан. — А и то давеча кошка сидит на окне да лапкой умывается, я и говорю: «Знать, дева, гостей намывает...» У Галактионовны после спрашивала, — «верно», говорит.

— А Галактионовна жива?

— Скулит...

Мы поднялись на крыльцо, прошли темные сени и очутились в передней; в отворенную дверь в комнате Мухоедова я заметил какую-то даму, которая лежала с папиросой в руке на диване. Когда я вошел в комнату, она лениво поднялась с дивана и с ленивой улыбкой посмотрела на меня: это была Глашка, только уже не прежняя Глашка, бегавшая по двору в ситцевых платьях и босиком, а целая Глафира Митревна, одетая в зеленое шерстяное платье; густо напомаженные волоса были собраны, по заводскому обычаю, под атласный бабий «шлык», значит Глашка была те-

перь дамой.

— Штой-то, Глафира Митревна, вы все по диванам валяетесь, — с легким укором, но любовно заговорила Фатевна. — Вот гостя кошка давеча намывала... полно, дева, бочонки-то катать.

— Ужасти, мамынька, как ко сну клонит, — жаловалась Глафира Митревна, — а ты, мамынька, скажи Фешке насчет самовару...

— Ну, самовар-то я сама уж, дева...

— Капинет Петрович в заводе; я за ним сейчас пошлю, — лениво говорила Глафира Митревна, обращаясь уже ко мне.

— Он все в этой комнате живет?

— Да-с...

Глафира Митревна вышла. Она очень пополнела и, как кажется, спала даже на ходу. Обращение с ней Фатевны, зеленое шерстяное платье, несмотря на летнюю пору, желание держать себя непременно «дамой». — все ясно показывало, что Глашка была теперь mme Мухоедовой. Микроскоп стоял не на столе, как раньше, а на окне и был покрыт толстым слоем пыли; книги в беспорядке валялись в

углу. На столе лежало несколько детских игрушек: деревянный солдатик с отломленной головой, бесхвостая лошадка, несколько измятых картинок из детской книжки. Значит...

— А мы тебя тут поминали, — заголосила Фатевна, появляясь в дверях с ребенком в руках. — Посмотри-ко, дева, чей это будет патрет? — проговорила она, подставляя мне к самому лицу хорошенького полугодового ребенка с большими карими глазами. — Весь в отца вышел; такой же глазастый из себя будет...

Ребенок был только что из колыбели и с любопытством смотрел на меня своими заспанными глазками; он действительно походил на Мухоедова, как две капли воды, — такой же белый высокий лоб и на самой макушке хохолок из мягких, как пух, желтоватых волосиков, какими бывают покрыты только что вылупившиеся из яйца утята.

— Узнал, Гаврюшка, барина? — спрашивала Фатевна, высоко подбрасывая ребенка кверху.

Фешка, краснея от натуги и того особенного волнения, которое неизменно овладевало

ей в присутствии всякого постороннего «мущины», подала самовар и бегом бросилась к двери, причем одним плечом попала в косяк; явилась Глафира Митревна, и мы по-семейному уселись вокруг стола.

— А ты, дева, слышал про «сестер»-то? — спрашивала меня Фатевна, пестуя внука. — В Сибирь сослали, дева, в Сибирь...

— Как так?

— А за Гаврилу-то Степаныча... да, в Сибирь, дева!

— Да ведь тогда Филька в подозрении был?

— Филька ни при чем, — заговорила Фатевна, обрадованная тем, что я ничего не знал об этом деле. — Филька тогда же выправился, а потом пьяный и проболтался, что стрелял ружьем в Гаврилу Степаныча Коскентин. Сейчас следователь пригнал Коскентина в суд, а на суде Коскентин и повинился, что действительно он ружьем стрелял.

— А как же «сестер» в Сибирь сослали?

— А ты слушай... Когда на суде Коскентин повинился, ему и прочитали бумагу, что в каторгу. Коскентин стоит за решеткой, бледный такой, помутнел весь из лица-то, потом и

спрашивает: «Значит, мне конец?» — «Конец», — говорят. Коскентин как заплачет, а когда его солдаты повели, он и сказал, что он не сам стрелял ружьем, а его подговорили «сестры», значит отец с Авдей Михайлычем. Ну, сейчас опять другой суд над «сестрами»; те заперлись во всем, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, слышь, понапрасну обнес их Коскентин... Так и не повинились, а Коскентин все и рассказал, как дело было, ну, «сестер» по бумаге в Сибирь и назначили.

— А Филька?

— Филька живет в Пеньковке, барин барином, потому ему после отца-то все и досталось. Теперь в кабаке вином торгует: только больно, говорят, пировать стал... С Асклипиодотом связался, водой не разольешь. Жену бьет, страсть; а жена-то Коскентина в стряпках у Асклипиодота жила. Только тут у них одно дело вышло промежду собой, Филька оттаскал Асклипиодота за длинные-то волосы, судились у мирового судьи...

— С приездом честь имею поздравить... — закрывая рот рукой, заговорила своим тихим голосом появившаяся в дверях Галактионов-

на. — Вот, Фатевна, кошка-то намывала давеча гостей?.. Здравствуйте, Глафира Митревна!.. Как вы из себя-то похорошели... как бы только не сглазить.

Галактионовна осторожно поместилась в уголок и вопросительно посмотрела на меня своими детскими улыбавшимися глазками; она не изменилась в течение года ни на волос, хотя перенесла опять какую-то очень мудреную болезнь, о которой и спешила рассказать.

— А мы без вас здесь свадебку сыграли, — как бы между прочим прибавила Галактионовна, — патрет с Капинета Петровича сняли, а к зиме, даст бог, другой поспеет...

Галактионовна скромно хихикнула своим мелким смешком в руку и мотнула головой в сторону Гаврюши.

— Экой язык у тебя, дева! — окрысилась Фатевна.

— А вот отцу Андронику с Асклипиодотом конец пришел. — не обращая внимания на восклицание Фатевны, заговорила Галактионовна, — отец Егор неприятность им большую сделал.

— Какую неприятность?

— А оченно просто: взял бумагу да на бумаге и описал все, да в консисторию и послал... Евгешка-то у отца Андроника совсем разума решилась; напилась как-то, надела на себя рясу, скуфью да по улице и пошла...

В это время в дверях показался Мухоедов, он остановился и по близорукости сначала не узнал меня; он сильно изменился, похудел, на лбу легло несколько мелких складок, и глаза смотрели с тревожным выражением. Узнав меня, он очень обрадовался, крепко пожал мою руку и, схватив сына на руки, с каким-то торжеством проговорил:

— Обрати внимание на сие произведение природы... А? Великий человек будет in spe... [11] В честь покойного Гаврилы и имя дал.

— Леванидом моднее назвать, — лениво отозвалась Глафира Митревна. — Ах, мамынька, как меня ко сну клонит... Так клонит, ужасти! Капинет Петрович не могут этого понять, они даже на смех подымают, а я не могу...

— Вам бы, Глафира Митревна, променад сделать? — предлагала Галактионовна, желая

щегольнуть иностранным словцом. — Или вот тоже в капустный лист голову завернуть — помогает...

Мухоедов кое-как выпроводил баб из комнаты, несколько времени смотрел в окно, а потом с виноватой улыбкой проговорил:

— Finita la commedia,[12] братику... Неженивыйся печется о господе, а женивыйся печется о жене своей. Да, братику, шел, шел, а потом как в яму оступился. Хотел тебе написать, да, думаю, к чему добрых людей расстраивать... Испиваю теперь чашу даже до дна и обтачиваю терпение, но не жалуюсь, ибо всяк человек есть цифра в арифметике природы, которая распоряжается с ними по-своему.

— Как это вышло? — спрашивал я.

— А вышло это, братику, очень просто, как нельзя проще... Летом, когда вы жили с Гаврилой на Половинке, я как-то выпил с отцом Андроником, и выпил так, сущую малость; пришел домой, лег было спать, а тут Глашка под пьяную руку подвернулась... Эх, тошно тебе рассказывать! Может, помнишь тогда, как я волком ходил... ну, вот тогда все сие и происходило. Даже некоторое колебание мыс-

лей происходило... только душа не поднялась. Зачем, думаю, девку буду губить, видно, уж судьба моя такая. А тут Гаврюшка родился, я ожил... Родительские чувства объявились; воспитанием думаю заняться... Иногда тоска нападет, науку забросил, а как начинаю тонуть, — сейчас к Александре Васильевне. Золотая душа...

— Как она устроилась?

— Учительствует... школу открыла. Ты ступай к ней сейчас же... или я с тобой пойду... — Мухоедов замялся и покраснел. — Глафира Митревна изволят ревновать меня, посему мне каждое посещение Александры Васильевны приходится покупать довольно дорого... И, заметь, я начинаю привязываться к жене. Конечно, глупа она свыше меры и зла, а взгляну на Гаврюшку, так сердце и упадет. Ну, пойдем, что ли. Мы к отцу Андронику завернем, — объяснял Мухоедов, когда вошедшая Глафира Митревна посмотрела на него вопросительно. — А ты тем временем проснись...

— Мимо не пройдите отца Андроника-то... — ядовито проговорила Глафира Мит-

ревна нам вслед.

Мы пошли вдоль улицы, на которую выходили домики «сестер»; один стоял с закрытыми ставнями, а в другом был открыт кабак.

— Вот что осталось от «сестер», — проговорил Мухоедов, указывая рукой на кабак. — Ты уж слышал всю историю?

— Мельком слышал от Фатевны.

— Да... Преказусная материя было вышла; целых полгода ни слуху, ни духу, а тут Филька сболтнул, явился следователь — Цыбули уж давно нет — и все на свежую воду вывели. Константин сначала все принял на себя, а как объявили ему приговор, не вытерпел, заплакал и объяснил все начистоту. «Сестры», те из всего дерева сделаны, ни в чем себя виновными не признали... Крепкий был народ! Так и на каторгу ушли... На всякого, видно, мудреца довольно простоты!

Мы подошли к небольшому домику в три окна; небольшая полинявшая вывеска гласила, что здесь «Народная школа». В передней нас встретил Евстигней, который сосредоточенно ковырял кочедыком лапоть; старик узнал меня и заковылял в небольшую комна-

ту, откуда показалась Александра Васильевна. Увидев меня, она улыбнулась и на мгновение отвернулась в сторону, чтобы вытереть набежавшую слезу.

— Как я рада... как рада, — шептала Александра Васильевна, не зная, как усадить нас в своей крохотной комнатке.

Это была маленькая комнатка, выходившая своим единственным окном на улицу; в углу, у самой двери, стояла небольшая железная кровать, пред окном помещался большой стол, около него два старых деревянных стула — и только. На стене висел отцветший портрет Гаврилы Степаныча.

— А я отлично устроилась здесь, — оживленно говорила Александра Васильевна. — Двадцать пять рублей жалованья нам с Евстигнеем за глаза... отлично живем. Школа идет порядочно, ученики, кажется, любят меня...

Евстигней подал самовар, и мы долго проговорили под его добродушный шумок, вспоминая Гаврилу Степаныча, его планы, жизнь на Половинке; эти воспоминания несколько раз вызывали слезы на глаза Александры Ва-

сильевны, но она перемогала себя и глотала их.

— Конь в езде, друг в нужде, — говорила Александра Васильевна. — Я так испытала на себе смысл этой пословицы... Сначала мне хотелось умереть, так было темно кругом, а потом ничего, привыкла. И знаете, кто мой лучший друг? Отец Андроник... Да, это такой удивительный старик, добрейшая душа. Он просто на ноги меня поднял, и если бы не он, я, кажется, с ума сошла бы от горя. А тут думаю: прошлого не воротишь, смерть не приходит, буду трудиться в память мужа, чтобы хоть частичку выполнить из его планов.

Как ни хорошо устроилась Александра Васильевна, а все-таки, сидя в ее маленькой комнатке, трудно было освободиться от тяжелого и гнетущего чувства; одна мысль, что человеку во цвете лет приходится жить воспоминаниями прошлого счастья и впереди не оставалось ровно ничего, кроме занятий с детьми, — одна эта мысль заставляла сердце сжиматься. Точно угадывая мои мысли, Александра Васильевна с своей хорошей улыбкой проговорила:

— Пословица правду говорит, что вдова, как дом без крыши... Иногда жутко приходится. А ведь и мы не без планов: вот подрастет у Епинета Петровича Гаврюша, мы специально займемся его воспитанием. Только разве мамаша Гаврюши не захочет...

— Вздор! — отрезал Мухоедов. — Это не ее рук дело...

Мы долго просидели в комнатке Александры Васильевны, самовар давно остыл, мы начали прощаться с хозяйкой.

— Куда вы торопитесь, господа! Впрочем, вам, может быть, нужно идти куда-нибудь, — грустно проговорила Александра Васильевна.

Я объяснил ей, что остановился в Пеньковке только проездом и завтра рано утром выеду в Нижне-Угловский завод; когда мы вышли от Александры Васильевны, Мухоедов отправился домой, а я пошел проведать о. Андроника, которого мне очень хотелось видеть. Его домик был в двух шагах от школы Александры Васильевны; подходя к нему, я издали слышал оглушительный лай собаки, рвавшейся на цепи. В небольшую щель, образовавшуюся в тыну, мне отлично была видна

такая картина: на лесенке крыльца сидел в одном жилете сам о. Андроник, он был немного навеселе и улыбался своей широчайшей и добродушнейшей улыбкой; посредине двора нетвердыми шагами ходил Асклипиодот, сильно заплетаясь в своем бесконечном подряснике цвета Bismark-furioso.

— Хорошо… хорошо… а я могу укротить вашу собачку, отец Андроник, — говорил Асклипиодот.

— Врешь, братчик… А ну, попробуй!

— Могу, отец Андроник.

Асклипиодот со смелостью вполне пьяного человека пошел к громадной желтой собаке, которая дико металась у своей конуры на длинной цепи; собака на мгновение было притихла, но в следующую минуту, когда Асклипиодот хотел ее погладить, она сначала схватила его за руку, а потом за полы подрясника. Асклипиодот не удержался на ногах, упал, собака, как бешеная, принялась его рвать; о. Андроник вскочил с своего крылечка, подбежал к самому месту действия и за ноги оттащил своего друга от вывшей собаки. Когда я отворил калитку, Асклипиодот, как

ни в чем не бывало, поднимался с земли и, показывая укушенную руку, говорил:

— Перст укусила ваша собачка, отец Андроник... перст...

— Ты — чистый дурак, братчик! — гудел о. Андроник.

— Хорошо... хорошо... ваша собачка меня укусила... хорошо, а я могу ее укротить, отец Андроник.

— Она тебя, как петуха, загрызет...

— Здравствуйте, отец Андроник! — проговорил я.

Старик оглянулся и как-то радостно вздохнул, причем под жилетом у него что-то заволновалось, точно там под ситцевой розовой рубашкой была налита вода; он благословил меня своей десницей и облобызал.

— Отец Андроник, благословите... — лепетал Асклипиодот, просовывая свою яйцеобразную голову между нами и складывая руки пригоршнями, точно он хотел умываться.

— На хорошее бог тебя благословит, а на худое сам догадаешься...

Мы прошли в маленькие комнатки о. Андроника; вдали мелькнула какая-то женская

фигура, вероятно, это была Евгеша, сам о. Андроник на минутку удалился в какую-то темную комнатку, откуда он вернулся уже в казинетовом подряснике, с графином водки в одной руке и с бутылкой в другой. Асклипиодот даже крякнул при виде этой посудины и далеко вытянул свою тонкую шею; он все время был занят своим перстом, укушенным собачкой о. Андроника.

— Плохие времена, братчик, — с тяжелым вздохом проговорил о. Андроник, принимая от какой-то невидимой руки тарелки с «сухоястием», сиречь закуской.

— Что так, отец Андроник?

— А так, братчик... Егорка, «ни с чем пирог», механику подвел под нас с Асклипиодотом, — немного печально заговорил старик, наливая рюмки, — вкусимте, братие, по единой...

Когда мы выпили по рюмке водки, о. Андроник, хлопнув меня по плечу, заговорил:

— Ведь Егорка-то все описал... Ей-богу!

— Поссорились?

— Была маленькая причина... да, была! — с тяжелым вздохом заговорил старик. — Я-таки

добрался до него... Да. Как-то на именинах у Павла Григорьича собрались мы все... выпили, калякаем. Приходит Егорка; понюхал носом какого-то заморского вина, а сам меня наблюдает, в каком я градусе. Обидно это мне показалось, братчик... «Ах ты, думаю, Иуда Искариотский». А сам подошел к нему да как лизну его по уху, он так и покатился по полу... Не помню, братчик, как это и вышло... совсем не помню! А Егорка сейчас в консисторию и настрочил... все описал, шельма: и как я его в ухо лизнул, и как у меня Евгеша за козлухами ходит, и как я водкой кропил, и стихи Галактионовны, которыми она меня описала, к прошению приложил... Плохо, братчик! И Асклипиодота приплел.

— А вас за что? — спросил я улыбавшегося дьячка.

— Напрасно... — заявил Асклипиодот.

— Оно, братчик, не совсем напрасно... — подмигивая левым глазом, басил о. Андроник. — У тебя тоже, братчик, рыльце в пушку...

— Хорошо, отец Андроник... Вы говорите, что у меня рыльце в пушку... Хорошо! А отец

Георгий напрасно...

— И про Фильку напрасно?

— Хорошо, отец Андроник... Действительно, я отпевал Галактионовну и вечную память ей пел... Это все верно отец Георгий описал... Хорошо! Видите ли, — заговорил Аскли-пиодот, обращаясь уже ко мне, — когда Коскентина присудили в каторгу, его супруга некоторое время жила у меня в качестве служанки... Хорошо! Раз я возвращаюсь от отца Андроника... Хорошо!.. Попадается Филька и прямо меня по уху... Хорошо! «Зачем, говорит, ты Коскентиновой жене хвост куфтой подвязал?» То есть он намекнул, что я поступил со своей служанкой, как Авраам с Агарью... Хорошо!.. Что она у меня живет, яко наложница... Хорошо! Я к мировому судье; мировой судья засадил Фильку на две недели в темную, а отец Георгий все это описали и донесли в консисторию, чтобы сконфузить меня... Хорошо! Правильно отец Георгий поступили со мной?..

— А вперед наука, братчик... Может, ты и в самом деле хотел шилом патоки... О-ха-ха-ха!.. Егорка нам теперь и смажет салазки-то... Ну,

да мне наплевать, братчик, пора костям и на покой... С голоду не умру: домишко свой есть, деньжонок малая толика в кубышке лежит — чего мне больше, старику.

— Ну, а мы тут без вас окрутили Епинета-то Петровича, — заговорил о. Андроник, переменяя разговор. — Только жена-то у него того... как моя хина: есть да на яицах сидеть. Теперь уж дела не поправишь, а жаль... Глупа уж больно Глафира-то Митревна, свыше меры глупа, а Епинет Петрович свыше меры прост. Да и Фатевна... Эх, немного бы погодить надо было!

— А что?

— Да как вам оказать... Конечно, на все воля божия, ни единый влас главы нашей не упадет без его воли, а все как раскинешь умом... У Епинета Петровича еще летом делишко склеилось, а кабы до осени обождать — тогда, может, и другое что образовалось. На все воля божия...

— Что другое-то, отец Андроник?

— Как тебе сказать-то это?.. Гаврило Степаныч, конечно, был хороший человек, и пострадал он невинно... Только, братчик, все мы

люди — человеки.

Я решительно ничего не понимал в этом наборе слов; о. Андроник не решался высказать свою мысль прямо, и я спросил его, что он хотел сказать.

Отец Андроник повернул ко мне свое широкое скуластое лицо, красное и лоснившееся от выпитой водки, нервно расправил бороду и улыбнулся. Так как я и теперь ничего не понял, он заговорил совсем изменившимся голосом:

— Вы были у Александры Васильевны?

— Да, был.

— Гм... Женщина молодая, в соку, а житьишко ее самое плохое, хоть она и утешается своей школой. Школа школой, братчик, а человек человеком... Придешь к ней, посмотришь на нее, так слеза и прошибет другой раз. Чего она так-то будет жить ни богу свеча, ни черту кочерга... Бабенка еще молодая, а впереди ничего. Скажешь ей ласковое слово, так она молиться на тебя готова, а то не думает, что мне это ласковое слово ничего не стоит. Вот я приду к ней в каморку-то, ведь кошки за хвост повернуть негде, а я с брюхом сво-

им едва продерусь в дверь-то... сяду и, грешный человек, всякий раз думаю, чтобы Епинету-то Петровичу жениться на ней!.. Ведь золотая душа, не чета Глашке-то! Я вот сам женился двадцати двух лет, через год овдовел, а теперь мне шестьдесят четвертый пошел — трудно, братчик, прожить век одному. И птица, и зверь, и козявка всякая...

Отец Андроник неожиданно замолк, отвернулся и кулаком вытер слезу.

— Мое-то уж все пережито, так по себе-то и другого жаль... Гаврилу Степаныча уж не поднять из могилы... Вон про меня что пишет Егорка-то: Андроник пьяница, Андроник козлух держит, а он был у меня на душе... а? Ведь в двадцать-то лет из меня четверых Егорок можно сделать... а водка, она все-таки, если в меру, разламывает человека, легче с ней. Вот я и пью; мне легче, когда она с меня силу снимает... Эх, да не стоит об этом говорить!.. Претерпех до конца и слякохся.

Поговорив с расчувствовавшимся стариком еще с полчаса, я оставил его домик; Асклипиодот, — покачиваясь на стуле, пел своим могучим баритоном: «Волною морскою

скрывшего древле, гонителя-мучителя фараона...» Меня далеко проводили звуки этого пения, пока я не завернул за угол к пруду.

Еще издали, как я подходил к домику Фатевны, до меня долетал какой-то шум голосов и женский крик. Когда я вошел в комнату Мухоедова, мне представилась такая картина: сам Мухоедов, бледный и взволнованный, бегал по комнате, Глафира Митревна и Фатевна стояли в противоположных концах комнаты и кричали в два голоса. Заметив меня, Глафира Митревна с заплаканными глазами и сердитым лицом ушла в другую комнату, но Фатевна не думала оставлять поле сражения и голосила на три улицы; в одном окне я заметил побелевший нос Галактионовны, которая занимала наблюдательный пост.

— Статошное ли дело, — кричала Фатевна, размахивая руками. — Разе это порядок? Женатый человек и таскается по чужим женам... разе это порядок?.. я мать?!.

— Умолкни, несчастная!.. — шептал Мухоедов, хватаясь за голову.

— Ты там прохлаждаешься у той, а Глафира Митревна прибежала ко мне и говорит:

«Мамынька, я сейчас в воду...» Разе это порядок? Теперь взять дохтуров... Обстоятельные люди, как есть; намедни опять десять билетов купили, а билет-то ноне двести рубликов стоит. Вот это порядок, а не то что мы!.. У тебя дите... о нем теперь должен заботиться. Семой год теперь служишь на тридцати рублях, а мне писарь сказывал, что все оттого, что гордость свою соблюдаешь... Пошел бы к Муфелю да в правую ногу, глядишь, дева, жалованья-то и прибавили, а то бы в емназию учителем поступал. Писарь говорит, по две тыщи жалованья платят в емназии-то...

Мухоедов схватил Фатевну за плечи, вытолкнул из комнаты и дверь затворил на крючок; он несколько минут бегал по комнате, как зверь в клетке, а потом, остановившись, проговорил с конвульсивной улыбкой:

— Видел?

— Видел...

— И это каждый день... Это какая-то тридцатилетняя война! Просто с ума, кажется, сойду.

— Отчего ты не уедешь отсюда?

— Куда?

— Поступил куда-нибудь на службу — и конец. Жену увез с собой, а Фатевна пусть себе живет здесь.

— Нет, не могу...

Мы сели к отворенному окну, у которого сидели год назад, и несколько времени молчали.

— Не могу, — еще раз проговорил Мухоедов.

— Почему?

— А видишь, в чем дело... Теперь моя песенка спета, влетел по уши, так я решил про себя, что уж если не умел устроить собственную жизнь, так буду жить для других. Помнишь Гаврилу? Вот и пойду по его дорожке... Святое дело. Ведь живет же Александра Васильевна, а я проживу и подавно... Наше товарищество, кажется, укрепилось, «сестер» нет — теперь хорошая минута, чтобы открыть потребительную артель, и мы уж открыли ее неофициальным образом. Потом мне хотелось бы школу Александры Васильевны поворотить в ремесленное училище, составить на первый раз при ней библиотечку, музеишко, лабораторию... Понимаешь?

Ведь это живое дело... Эх, жаль, что Гаврилы нет!.. А что касается моей семейной обстановки, то, право, мне кажется, и к аду можно привыкнуть. У моей достойной половины есть свои достоинства: она ленива, как черепаха, и ей скоро надоест сражаться со мною, а с Фатевной я приму меры строгости, задам ей как-нибудь перцу во вкусе Кита Китыча...

Мухоедов даже сам рассмеялся над своими словами и, повернув ко мне голову, проговорил:

— Ну что отец Андроник?

— Удивительный старик.

— А он не говорил тебе ничего о деньгах, которые на школу Александре Васильевне дает?

— Нет.

— И не скажет... не такой человек. Ведь сам предложил, а если разговор зайдет о школе, на смех подымет, пустяками зовет.

К окну, у которого мы сидели, подошел Яша, улыбнулся, махнул палкой и забормотал:

— Здорово, Иваныч... сорок восемь серебром... Я кабак на пруду выстрою... Приказал...

Иваныч будет водку пить...

— И этого дух века заедает, — с печальной улыбкой проговорил Мухоедов.

— Жалованье, Иваныч... буду получать... Четыре недели на месяц, Иваныч... пятую спать!

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1914–1917 гг. собрание сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка вышло приложением к журналу «Нива». В советские годы выпущено два собрания сочинений писателя в двенадцати томах (Свердловск, 1948–1951) и в восьми томах (Гослитиздат, 1953–1955).

Настоящее издание включает почти все художественные произведения, напечатанные в восьмитомном собрании Гослитиздата, за вычетом романа «Дикое счастье» и нескольких мелких рассказов. В отличие от упомянутых двенадцатитомного и восьмитомного собраний в нашем издании впервые за советские годы печатаются полностью «Уральские рассказы» и «Сибирские рассказы» в том составе и порядке, в каком они многократно издавались писателем.

Тексты печатаются по последним прижизненным изданиям произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка с исправлением опечаток по предшествующим публикациям. Очерк «Сестры», детские рассказы и избранные письма печатаются по собранию сочинений в восьми

томах (Гослитиздат).

СЕСТРЫ

Очерк из жизни Среднего Урала

Произведение написано в начале 80-х годов. При жизни автора очерк не был напечатан. Впервые опубликован К. В. Боголюбовым в альманахе «Уральский современник», 1952, № 3.

Печатается по изданию Д. Н. Мамин-Сибиряк, собрание сочинений в восьми томах, Гослитиздат, т. 1, М., 1953.

В основу очерка положены личные наблюдения писателя. Семья Маминых некоторое время жила на заводе Нижняя Салда, принадлежавшем горнозаводчику Демидову. История убийства Гаврилы Степаныча, описываемая в очерке, основана также на действительном событии. В очерках «От Урала до Москвы» (1881–1882) идет речь об уральце Копылове, которого убили кабатчики по тем же причинам, что и Гаврилу Степаныча.

Основанный на реальных фактах, очерк «Сестры» представляет собою широкое худо-

жественное обобщение. Автор вступает здесь в борьбу с либерально-народническими теориями, согласно которым в перестройке русской экономической жизни должны сыграть большую роль различного рода товарищества и артели. Мамин-Сибиряк развивает глубоко справедливую мысль, что при капитализме подобного рода начинания неизбежно обречены на гибель. Эта идея разработана им и в других произведениях: «Все мы хлеб едим», «Приваловские миллионы» и др. Мамин-Сибиряк некоторое время сам состоял членом Нижне-Салдинского ссудо-сберегательного товарищества. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится расчетная книжка Д. Н. Мамина, выданная этим товариществом.

Стр. 41. ***Посессионное право***— право иметь на казенных землях фабрики и заводы, а также покупать крестьян для работы на них. Владелец посессионного предприятия не мог продать его, прекратить работу или изменить продукцию; предприятие, без права дробления, передавалось по наследству. В свя-

зи с реформой 1861 года посессионные крестьяне были освобождены от личной зависимости, но многие крестьяне, обеспечивавшие себя работой на предприятии только частично, остались после реформы без средств существования.

Стр. 52. ***Базаров и Николай Петрович Кирсанов***— персонажи из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Стр. 60. ***Пряденики***— пеньковая обувь.

Стр. 69. ***Кученок***— угольная куча, в которой дожигается уголь.

Стр. 70. ***Фаланстерию устраивать.*** — Фаланстериями социалист-утопист Фурье называл помещения-дворцы, в которых должны были, по его проекту, жить и выполнять некоторые работы члены фаланги — основной производственно-потребительской ячейки идеального гармонического общества.

Стр. 72. ***Хина*** — здесь от кохинхинка — порода кур, завезенных в Европу из Кохинхины (Индокитай).

Стр. 76. ***Авгиевы стойла*** — в древнегреческой мифологии конюшни царя Авгия, которые не чистились в течение 30 лет и были

сразу очищены Гераклом, направившим в них реку Алфей.

Стр. 79. ***Не хочу осеннего собирать.*** — Осеннее — повинность с прихода в пользу церковного причта, сбор хлеба.

Стр. 85. ***Иродиада, пляшущая пред Иродом.*** — По библейскому сказанию, Иродиада была любовницей правителя Галилеи, Ирода Антипы — брата своего мужа; эту преступную связь открыто осуждал Иоанн Креститель; мстительная Иродиада добилась в награду за пляску своей дочери Соломин казни Иоанна Крестителя

Стр. 95. ***Филемон и Бавкида*** — персонажи древней легенды, обработанной Овидием. Идеальная супружеская чета, они горячо любили друг друга, были радушны, незлобивы и добры.

Стр. 109. ***Сакма*** — колея, дорожка, след, особенно часто след медведя

Воркунов-то спущали. — Воркуны — бубенчики; здесь в смысле сбежали, струсили.

Стр. 132. ***Казинетовый*** — из полушерстяной ткани.

Note1

Образ жизни (лат.).

[^^^]

Note2

Времена меняются... (лат.)

[^^^]

Note3

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

[^^^]

Note4

Порочный круг (лат.).

[^^^]

Note5

Нового человека (лат.).

[^^^]

Note6

Волей-неволей (лат.).

[^^^]

Note7

Эти цены стояли до проведения Уральской железной дороги, а теперь в Пеньковке пуд ржаной муки стоит 1 р. 30 к. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note8

Как порядочный (франц.).

[^^^]

Note9

Пиво... (нем.).

[^^^]

Note10

Опасный прыжок (лат.).

[^^^]

Note11

Можно надеяться... (лат.).

[^^^]

Note12

Представление окончено (итал.).

[^^^]